

РОМАН-9
ТАКЖЕ В
ГАЗЕТА

Иван
Евсеенко

Паломник
Седьмая
картина



Иван Иванович Евсеенко

Паломник

Scan, OCR, SpellCheck Чернов Сергей г.Орел
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156757

Иван Евсеенко Паломник. Седьмая картина: Роман-газета №9 2002 г.;
Москва; 2002

Аннотация

Герой повести И.Евсеенко, солдат великой войны, на исходе жизни совершает паломничество в Киево-Печерскую лавру. Подвигнуло на это его, человека не крепкого в вере, видение на Страстной неделе: седой старик в белых одеждах, явившийся то ли во сне, то ли въяве, и прямо указавший: "Надо тебе идти в Киев, в Печорскую лавру и хорошо там помолиться".

Повести Ивана Евсеенко – это трепетное, чуткое ко всему живому повествование об израненных, исстрадавшихся, но чистых и стойких душой русских людях.

Иван Евсеенко

Паломник

повесть (журнальный вариант)

Памяти Глеба Горьшина

В пятницу на Пасхальной неделе было Николаю Петровичу видение не видение, сон не сон, но глубокой ночью вся горница вдруг озарилась ярким, будто волшебным каким-то светом, и в этом озарении предстал на пороге весь в белых, ниспадающих до самой земли одеждах седой старик с посохом в руках. Перекрестившись на образа, он преклонил перед Николаем Петровичем голову и произнес:

– Надо тебе идти в Киев, в Печерскую лавру и хорошо там помолиться.

– Да куда же мне?! – попробовал было противиться Николай Петрович, и во сне и в видении понимая, что ему, уже почти восьмидесятилетнему человеку, до Киева, поди, и не добраться, тем более что теперь это страна далекая и чужая.

Но в следующее мгновение старик исчез, и горница опять погрузилась в предрассветную зоревую темень.

Николай Петрович несколько минут в изумлении сидел на кровати, а потом позвал жену, спавшую в тепле на печке:

– Маша?!

– Чего тебе? – спросонья, но незлобиво ответила та, за долгие годы совместной жизни хорошо привыкшая к его ночным крикам и бдениям: то болят простреленные в войну грудь и нога, то неможется от бессонницы, то вдруг вспомнятся Николаю Петровичу давно покинувшие дом дети, и он начнет, ночь не ночь, горевать и тревожиться за них.

– Ты старика сейчас не видела? – осторожно и боязко, весь еще во власти волшебного своего сна, спросил ее Николай Петрович.

– Какого еще старика?! – вздохнула Марья Николаевна, но опять не обидчиво, не сердито, а, наоборот, по-женски обеспокоено, что Николаю Петровичу и в эту ночь не спится, неможется. – Болит чего?

– Да нет, не болит, – недолго помолчав, ответил Николай Петрович и вдруг попросил Марию Николаевну: – Посиди со мной.

Он и в прежние ночи, когда действительно немоглось или одолевали тревоги за детей и внуков, так вот звал ее, чтоб посидеть рядом, погоревать вместе. И сколько помнит Николай Петрович, Марья Николаевна ни разу не отказалась, не посетовала на его стариковские причуды и вымогательства, всегда покорно садилась рядом. И ему сразу становилось легче...

Поднялась и подошла она к Николаю Петровичу и сейчас. Свет они зажигать не стали, потому что в окошке уже начала теплиться утренняя заря, можно было различить и ле-

жанку, и дверь, и образа в красном углу, обрамленные рушниками.

Николай Петрович долго томил Марью Николаевну молчанием, вглядывался в эти знакомые ему с детства образа. И чем больше вглядывался, тем больше они казались ему сегодня какими-то обновленными, хотя еще и по-страстному скорбными. В душе и в мыслях Николай Петрович помолится им и наконец начал рассказывать Марье Николаевне о только что увиденном и услышанном здесь, в горнице. Он вначале опасался, что Марья Николаевна остановит его каким-либо неосторожным замечанием, решится даже зажечь свет, чтоб достать ему из ящичка стола лекарства от сердца или от бессонницы, но она сидела тихо и терпеливо внимала его рассказу, как привыкла внимать в такие вот беспокойные, рябиновые, по ее словам, ночи бесконечным жалобам и стенаниям Николая Петровича. И лишь под самый конец, когда он уже умолк, робко спросила:

– Может, приснилось?

– Нет, не приснилось, – краешком сердца все же обиделся на нее Николай Петрович. – Вот здесь он стоял, у двери, и так и сказал: «Иди в Киево-Печерскую лавру и хорошо там помолись».

– И что ж нам теперь делать? – винясь за свою оплошность, проговорила Марья Николаевна.

Николай Петрович именно этого и ожидал от нее, был уверен, что она рассказ его не отвергнет, не засомневается в

нем, а примет неожиданное ночное происшествие и на себя. Так у них было всю жизнь – все пополам, все на двоих: и горести, и радости. Правда, сейчас нельзя было и понять, что это – радость или горечь.

– Пойду, наверное, – еще нетвердо, с сомнением вздохнул Николай Петрович. – Грех не пойти.

Но сам в душе он уже твердо знал, что пойдет непременно, обязательно даже пойдет, раз есть ему такой наказ и повеление. Николаю Петровичу нужен лишь совет, сочувствие и напутствие Марьи Николаевны, потому что без них он никогда никуда не ходил и не мыслил, как без них можно пойти.

Но она вдруг начала не то чтоб отговаривать его или сомневаться, а как бы уже плакать и страдать при расставании:

– Ну куда с твоим здоровьем в такую дорогу. Где-нибудь прихватит, что будешь делать?

– Свет не без добрых людей, – нашелся что ответить и на это Николай Петрович.

Марья Николаевна с ним вроде бы согласилась: свет действительно не без добрых людей, если что приключится, так старика в беде не оставят, помогут, примеров тому в жизни много. Но минуту спустя придумала новую причину, чтоб удержать Николая Петровича возле дома, и теперь уже более основательную и важную, от которой просто так не отговоришься:

– А весна наступает, а пахота?! Картошку надо сажать, грядки обихаживать! На кого ты меня покидаешь?!

Тут уж правда была во всем на стороне Марьи Николаевны: они по весне и вдвоем-то с пахотой, с садом-огородом с трудом управлялись, а теперь предстояло ей все одной. Но и отступить Николаю Петровичу было никак нельзя, некуда: наказ, повеление привидевшегося ему в ночи старика еще звучали в ушах.

– Я насчет трактора договарюсь, – твердо пообещал он Марье Николаевне. – А с остальным сама помаленьку сладишь. Да может, я и недолго там буду.

В ответ Марья Николаевна ничего не сказала, лишь горестно по-старушечьи вздохнула и ушла на кухню, как всегда и уходила, когда Николай Петрович, обласканный и привеченный ею, наконец успокаивался и ложился подремать еще час-другой до настоящей уже зари и рассвета.

Николай Петрович лег и нынче, надеясь, что сон тут же и прилетит к нему, одолеет, а поутру, при свете дня они с Марьей Николаевной обдумают все случившееся по-новому. Но сон никак не шел, да и боязно было Николаю Петровичу, что не успеет он смежить веки, как горница опять озарится волшебным светом и опять у двери встанет старик с посохом. И что же ответит ему Николай Петрович?! Мол, так и так, он с дорогою душою рад бы исполнить его наказ и повеление – пойти в Киев-град и помолиться там в Печерской лавре за всех грешных и праведных, – но вот старуха, женщина больная и робеющая, не отпускает, опасается и за него, и за себя.

Но так ответить Николай Петрович не мог, так в подобных случаях не отвечают, грех бы это был великий и неискупимый. Марья Николаевна это должна бы понимать, да и понимает, конечно, хотя по привычке и думает: вот настанет утро, свет Божьего дня, старик и уgomонится, забудет все свои видения, первый раз, что ли, с ним подобные сны приключаются.

Николай Петрович не стал больше себя испытывать, томить напрасными, по-ночному путаными мыслями. Он поднялся с кровати, подошел к образам и несколько минут в молчании стоял перед ними, хотя в прежние дни в суе и утренней спешке не всегда это делал, будучи по жизни своей человеком не очень-то и богомольным. В душе, конечно, что-то теплилось, жило, он постоянно это чувствовал, но не придавал особого значения, есть – и ладно, лишний раз перед образами не задерживался, крестным знаменем себя не осенял.

А сегодня вот задержался, осенил и только после этого в новом каком-то, непривычном для себя раздумий вышел во двор. Там уже нарождался день. На горизонте за лугом и негустым березняком начинало восходить солнце. Сперва озарилась на небе широкая огненная полоса, подержалась, борясь с темнотою, минут десять-пятнадцать, а потом обернулась вдруг краешком солнца, еще далекого, недостижимого взором и тоже оранжево-огненного. Но вот оно прямо на глазах Николая Петровича стало расти, выкатываться из тьмы,

приближаться и приближаться и наконец привычно зависло над березняком, по-апрельски светлое и ласковое.

Николай Петрович глядел на солнце, на луг, на блеснувшую за березняком речку, а в душе все еще жило беспокойство и тревога: как быть, на что решаться?

Он опять вспомнил ночное свое видение, поклон и голос старика, и в потемневшей его душе родилась и вопрошающе забилась новая, совсем уж неожиданная мысль, обида на старика. Ну зачем он выбрал именно его, Николая Петровича, зачем именно ему надо бросать все – Марию Николаевну, невспаханную землю, не засеянный еще огород – и идти Бог знает в какую даль, молиться там и поклоняться святым местам, не будучи по природе особо крепким в вере. Ведь сколько вокруг других людей, которые с радостью приняли бы на себя такой обет, пошли бы и помолились с чистой душой и чистыми помыслами, и пользы от их молитвы было бы во много раз больше.

Но вот же выбор пал на Николая Петровича. Может, за грехи его какие и прегрешения, которых у одного только Бога нет. А коль так, то уклоняться, противиться наказу ночного старика было еще большим, совсем уж неискупимым грехом. Надо потихоньку настраиваться на дорогу, готовить к расставанию Марию Николаевну, которой в одиночестве, в одни руки справиться с огородом будет нелегко. Но и то она должна понять, что не по своей же воле и стариковскому замыслу решил он идти в Киев, в Печерскую лавру, как

ходили только в давнее время неприкаянные, истинно богомольные люди. Хотя, лучше бы, конечно, по своей, по веле-нию страждущей души и сердца: ведь должен кто-то же и в нынешнее время брать на себя тяжкую эту ношу – молиться за всех сирых и убогих, а еще больше, наверное, за богатых и сытых да погрязших в грехах, им-то самим молиться недо-суг. Но добровольно такая мысль в голову Николаю Петро-вичу не пришла, и это тоже грех немалый...

Постояв еще немного посреди двора, Николай Петрович захватил из кладовки бутылку водки, запасенную специаль-но для такого, пахотного, случая Марьей Николаевной, и по-шел к трактористу Мише Грудинкину договариваться насчет огорода. Миша, должно быть, после вчерашней гулянки-вы-пивки сильно страдал с похмелья, но виду не подавал, кре-пился, и когда Николай Петрович по пасхальному обычаю и правилу поздоровался с ним: «Христос воскрес!» – не по-смел ответить как-либо иначе, по-будничному, а хотя с хри-потой и стоном в голосе, но все ж таки произнес требуемое:
– Воистину воскрес!

И это очень порадовало Николая Петровича. Коль уж та-кие беспутные мужики, как Миша, которым все нипочем, было бы лишь выпить-закусить, стали откликаться на боже-ские слова по-божески, то, может, и правда в людях и в жиз-ни что-то меняется к лучшему.

Миша и рюмку выпил не так, как пил обычно, второпях, заполошно, только бы поскорее утолить жажду, закусывая

ломтем черствого хлеба, огурцом-помидором, а то и просто занюхивая рукавом промасленной телогрейки. Сегодня же он смирил свое нетерпение, достал и куличи, и жареное мясо, и пару крашенок, так что у них с Николаем Петровичем получилось как бы взаимное гостевание, христосование. При таком гостеваний излагать свою просьбу Николаю Петровичу было легко и необременительно. А ведь до этого он крепко побаивался, что с Мишей еще и не сговорится, несмотря на то что пришел с бутылкою. Миша ведь человек своевольный, вспыльчивый, если что не по нем, так ничем его не ублажишь. Хотя и то надо сказать, трактор сейчас, почитай, у него один на всю деревню. Все бывшие колхозные, нынче перешедшие в какое-то акционерное общество, поразвалились, как и чахлое это общество, на ходу, может, один-два, не дозовешься их, не допросишься. А у Миши трактор свой, выкупленный еще в колхозе, он ему самоличный хозяин, от него живет и кормится, и особенно по весне, когда идет пахота.

– Я буду в отлучке, – начал, не торопясь, излагать свою просьбу Николай Петрович, – так ты Марье Николаевне огород вспаши, не промедли, а то она совсем изведется.

– А ты куда настроился, дед Коля? – светлея лицом после выпитой рюмки, поинтересовался Миша.

– В Киев надо проехать, – правдиво, но без особых подробностей ответил Николай Петрович.

– Ого! – изумился Миша. – И чего ты забыл в Киеве?!

– Надо! – еще тверже отвел неурочный разговор в сторону Николай Петрович, хотя, может, и стоило рассказать Мише все, как оно есть на самом деле. Глядишь, он и не тянул бы с ответом, а поскорее дал обещание вспахать Марье Николаевне огород к сроку.

Но Николай Петрович ничего не рассказал. В последнюю минуту он сумел сдержать себя, вдруг забоявшись, что Миша, выпив еще рюмку-другую, затронет его каким-нибудь неосторожным словом, посмеется над стариковским намерением Николая Петровича ехать в Киев на богомолье и, наоборот, в просьбе откажет. Мол, я людям, которые безотрывно при доме-огороде сидят, и то не всем пашу – не успеваю, – а уж всяким паломникам, богомольцам, что в разгар страды по церквам разъезжают, на чужие руки только надеясь, и по-давно не буду – некогда! На душе у Николая Петровича после таких слов потемнеет-погаснет, и неизвестно еще, чем эта темнота для него закончится. А с Миши очень даже может статься – скажет, пожилые годы Николая Петровича в расчет не возьмет, он по весне со своим трактором для деревенских стариков и старух поважнее любого иного начальства. Оттого и гоношится, оттого и куражится. Николай Петрович нрав его давно изучил, поэтому и пришел не с пустыми руками. Выпивка нынешняя вроде бы как задаток Мише, забыть ее, нарушить после свое обещание будет ему трудно – это уж совсем надо совесть потерять.

– Деньги Марья Николаевна отдаст, – налил Мише еще

одну рюмку Николай Петрович.

– Да что деньги! – начал все-таки заводиться Миша. – Трактор не на ходу!

– А чего ж так? – заволновался, забеспокоился Николай Петрович. – Пахать пора. Народ на тебя надеется.

– Конечно, надеется, – горделиво усмехнулся Миша и вдруг упал головой на стол. – Но трактор не на ходу.

Знал эти Мишины падения Николай Петрович, не первый ведь год, не первую весну стучится к нему с бутылкою в руках. И частенько бывало, что, выпив рюмку-другую, Миша подобным образом падал головой на стол и начинал куражиться: то трактор сломался, то солярки нет, то очередь на пахоту большая, до самого июня все забито, так что забирай, дед, свою бутылку и иди к председателю, поглядим, как он пить-разговаривать с тобой будет. И никак ты Мишу с этой мысли, с этого куража и пьяного упрямства не собьешь. Похоже, и сегодня его на старых дрожжах развезло дальше некуда, и теперь он будет лежать на столе пластом до самого вечера. Но ведь и без окаянной этой бутылки прийти никак невозможно – Миша и вовсе с ним разговаривать не стал бы, он к этим бутылкам приучен сызмальства, с шестнадцати лет, когда только выучился в районе на тракториста.

– Ну так как, Михаил Иванович? – теряя всякую надежду, еще раз затронул его Николай Петрович.

Миша с трудом оторвал от стола голову, сверкнул на него похмельно-пьяным, мало чего видящим взглядом и опять за-

талдычил:

– Я же сказал, соляра нету!

Николай Петрович ничего больше добиваться от него не стал, молча поднялся из-за стола и вышел на улицу, вконец расстроенный и раздосадованный: все-таки он надеялся, что Миша ему в просьбе не откажет. И особенно надеялся поначалу, когда Миша пасхальные его, праздничные слова не отверг, а, преодолевая тяжесть и похмелье в голове, ответил, как и полагается сегодня отвечать любому человеку. Но, видно, для Миши все это лишь пустой звук, обман, церковные слова в предчувствии скорого похмелья он произнес без всякого понимания их смысла, без веры.

Шагая по топкой тропинке в обратную сторону, к своему подворью, Николай Петрович все больше огорчался этому обману, по-стариковски вздыхал, сердился и на себя, и на Мишу. Но возле самой калитки вдруг оттаял душой и дал себе твердое обещание, что если Бог и вправду приведет его в Киев, в святую Печерскую лавру, то надо будет там непременно помолиться за неприкаянного этого Мишу и за всех таких мужиков, которых в заблуждении своем мается сейчас по России великое множество и которые сами за себя помолиться уже не в силах.

В дом Николай Петрович вошел вроде бы успокоенный, но Марья Николаевна быстро разгадала, что это совсем не так, что его что-то гнетет и выводит из себя.

– Ну как там? – настороженно спросила она.

– Да пьяный он! – сказал поначалу всю правду Николай Петрович, а потом, чтоб не огорчать Марью Николаевну, немного схитрил и добавил: – Но вспахать обещался, ты не переживай.

– Ладно, – еще быстрее разгадала и этот его обман Марья Николаевна, – я сама схожу.

... Целую неделю еще после неудачного своего вторжения к Мише Николай Петрович о поездке в разговорах с Марьей Николаевной не заикался и не то чтобы хитрил или опасался, что она опять начнет его отговаривать, а он возьмет да и согласится с ее отговорами, а просто ждал, когда почтарка принесет им пенсию, потому как на дорогу, на поезда-автобусы какие-никакие деньги ему были нужны.

Почтарка в этом месяце, словно зная, как ждет ее, выглядывает Николай Петрович, не задержалась ни на единый день (а ведь случалось, что задерживалась и на месяц, и на два, и на три), принесла пенсию точно в назначенный срок. Николай Петрович расписался в ведомости и за себя, и за Марью Николаевну, которая в последнее время что-то совсем ослабела на зрение, одарил почтарку пятью рублями за хлопоты, как это было повсеместно заведено в Малых Волошках, и когда та, в свою очередь поблагодарив их за посильное дарение, распрощалась и ушла дальше по улице, разговора с Марьей Николаевной откладывать больше не стал, а тут же и попросил ее по своему обычаю:

– Посиди со мной рядом.

Марья Николаевна присела, сразу догадавшись, о чем у них пойдет речь. Николай Петрович долго томить ее не посмел, взял за руку и объявил непреклонное свое решение:

– Пора мне, Маша.

Марья Николаевна помолчала всего какую-то долю минуты, тихая и, понятно, скорбная перед расставанием, но уже давно готовая к нему.

– Ну, коль так, – согласно проговорила она, – так и давай собираться...

Первым делом они пересчитали все деньги: и пенсионные, и те, что были у Марьи Николаевны малость в запасе еще с минувшего лета и осени. Частью эти деньги завелись у них от проданной картошки, в прошлом году, слава Богу, хорошо уродившей, а частью от торговли корзинами и кошелками, которые Николай Петрович выучился хорошо плести еще в молодости, когда пастушил, переняв это умение от отца и деда. Николай Петрович хотел было поделить деньги точно поровну, половину взять с собой в дорогу, а половину оставить Марье Николаевне, чтоб она тут без него не бедовала, могла и с окаянным этим Мишей за пахоту расплатиться, и себе на хлеб что-либо приберечь. Но Марья Николаевна вдруг воспротивилась, отложила себе всего сто рублей, а остальные передала Николаю Петровичу, не став даже слушать его возражений:

– Я дома – мне и этого хватит!

Николай Петрович деньги взял, но на душе у него осе-

ла нестерпимая тяжесть, он вдруг почувствовал себя кругом виноватым перед Марьей Николаевной: едет в Бог знает какую даль, и только потому, что ему приснилось, пригрезилось что-то бессонной ночью, а она остается одна с невспаханым, незасеянным огородом, да еще и, считай, без денег. Но и по-другому тут, видно, поступить было нельзя. Дорога действительно есть дорога, любая копейка там может пригодиться и выручить Николая Петровича, если какая-нибудь заминка, затор. А лишнее тратить он не будет: не на прогулку едет, не на гуляние, а по делу божескому, наказному. Вот разве что купит Марье Николаевне дорогой киевский подарок: праздничный платок, шаль или теплые войлочные сапоги, чтоб ей было удобно и мягко ходить, или вязаную шерстяную жакетку, о которой она давно мечтает, но с деньгами у них никак не получается.

Надежда эта, тайное решение насчет подарков немного сняли с души Николая Петровича тяжесть и вину перед Марьей Николаевной, и он уже поспокойнее стал советоваться с ней, что брать в дорогу.

– Мне много не надо, – попробовал Николай Петрович загодя предупредить Марью Николаевну, зная ее извечную заботу и беспокойство о нем.

Но Марья Николаевна особо к его просьбе не прислушалась, тут же достала кошелку и принялась собирать ее по своему усмотрению.

Николай Петрович поначалу противиться Марье Никола-

евне не решился, молча смотрел, как она снует из кухни в горницу, перебирает в шифоньере белье, что-то ищет в ящике стола. Ивовая кошелка, которую сам же Николай Петрович и сплел для Марьи Николаевны, когда она еще ходила-ездила в районный центр на базар, заполнялась всяким скарбом прямо на глазах. Николаю Петровичу впору было Марью Николаевну остановить, но он намеренно ее не останавливал, а вдруг начал вспоминать, как Марья Николаевна с этой кошелкой, новенькой, скрипучей еще, с двумя пущенными по ободку красными стежками, собиралась первый раз в город. Николаю Петровичу было тяжело с ней расставаться даже на один день, он вздыхал, не находил себе места и едва не стал жаловаться на свои болезни-хвори, лишь бы Марья Николаевна поездку в город отложила. А каково же нынче ей собирать его в дорогу, да и не на один быстротечный воскресный день, а, может, на целую неделю, тоже, небось, томится и переживает душой, хотя виду и не показывает. Николай Петрович хотел было сказать Марье Николаевне что-нибудь утешительное, дать еще раз обещание в поездке долго не задерживаться, а помолившись, немедленно ехать домой, потому как ему одному тоже не больно весело. Но, поглядев, что кошелка уже полным-полна по самые дужки, он ничего этого не сказал, а наконец подал голос и запротестовал, но не столько против скарба, который, может, и действительно весь необходим ему будет в дороге, а против любимой этой кошелки Марьи Николаевны:

– Мне бы лучше мешочек какой, чтоб руки были свободны.

Марья Николаевна на минуту даже обиделась на него за такое небрежение к праздничной ее, выходной кошелке, с которой ходила только на базар, а по дому пользовалась старенькой, поношенной, и от обиды укорила Николая Петровича:

– С мешками только нищие ходят!

Но потом послушно пошла искать требуемый мешок, согласившись с Николаем Петровичем, что в поездке ему так действительно будет удобней, руки не связаны. По дороге она, правда, пожалела, что года три тому назад они зря отказались от вещмешка, который оставлял в доме сын, Володька. Тогда этот мешок им был без надобности: здоровенный, для их стариковской силы уже неподъемный, с множеством всяких карманов, клапанов и шнуровок, да к тому же еще и слишком броского ярко-синего цвета. А нынче он и пригодился бы... Но и тот мешок, что принесла Марья Николаевна, был, по понятиям Николая Петровича, ничуть не хуже: без карманов, конечно, и шнуровок, из обыкновенной густой мешковины, но зато как раз по росту и силе Николая Петровича. Его лишь надо было маленько оборудовать, приспособить под рюкзак. Но дело это нехитрое, хорошо знакомое Николаю Петровичу еще с пастушьих, а после с военных времен. Он сходил во двор, отыскал там два камушка-голыша, аккуратно заложил их в уголки мешка и повязал двумя

лямками, на которые Марья Николаевна не пожалела поясов от своих стареньких, но вполне еще носких халатов. Потом они стали переключать из кошелки в мешок скарб, и тут Николай Петрович самолично пересортировал его, оставив лишь самое необходимое: пару белья, две запасные верхние рубашки да зингеровскую опасную бритву, единственный свой военный трофей, с помазком и кусочком мыла. Марья Николаевна к его пересортице отнеслась ревниво, но он заупряился и опять едва не обидел ее:

– Не на год еду!

Марья Николаевна это упрямство, которому Николай Петрович иной раз и сам был не рад, хорошо знала, пообвыкла к нему. Уж если Николай Петрович чего захочет, во что уверует, так никакими словами его не пересилишь – надо уступать, иначе дело до скандала может дойти, до размолвки. Марья Николаевна и уступала. Вернее, принимала вид, что уступает, а потом все совершала по-своему, и выходило, что она права, а Николай Петрович не прав. Малость поостыв, он всегда с ней соглашался, а случалось, так и просил прощения.

Марья Николаевна и сейчас пошла на хитрость: все отложенные Николаем Петровичем вещи спрятала назад в шифоньер, но тут же принесла пластмассовую коробочку, в которой хранила швейные свои сокровища.

– Нитку-то хоть с иглой возьмешь? – с укором спросила она Николая Петровича.

– Нитку-иголку возьму, – пошел на уступку Николай Петрович, сразу согласившись, что тут уж Марья Николаевна не ошиблась: нитка-иголка ему в поездке необходима, вдруг оторвется пуговица или, не дай Бог, прохудится где рубаха, так не надо будет ни у кого одалживаться – все под рукой.

Но и здесь он не во всем согласился с Марьей Николаевной, прятать в мешок катушку не стал, а по-солдатски заколол под козырек фуражки выбранную из коробки средних размеров иголку и ловко, крест-накрест, обмотал ее двумя недлинными нитками – черной и белой. Получилось и экономно, и надежно. Марья Николаевна на это его самовольство лишь потаенно покачала головой.

Потом они, уже в полном миру и согласии, долго обсуждали: брать ему в дорогу телогрейку или не брать и какие опять-таки обувать сапоги – офицерские, хромовые, даренные Володькой, или обиходные, кирзовые. Сошлись на том, что фуфайку брать непременно надо: дни (и особенно ночи) стоят еще прохладные, можно в легком пиджачке и застудиться; а сапоги решено было обувать офицерские, праздничные, потому как большего праздника, чем эта поездка в Киево-Печерскую лавру, у Николая Петровича в жизни, может, уже и не будет. А что они не разношенные, так не беда, в дороге и разносятся, надо только хорошо их намазать гуталином. Да и опробованные уже сапоги на Пасху – и нигде вроде бы не жали, не томили ногу.

В согласии собрали Николай Петрович и Марья Никола-

евна и походную еду. Марья Николаевна достала из кладовки кусочек хорошо просолившегося за зиму сала, которого Николай Петрович был большой любитель, потом отварила десяток яиц, положила в узелок и хлеба, и соли, и луку. Николай Петрович остался этим узелком очень доволен: все привычное, сытное и в весе необременительное.

Посомневались они с Марьей Николаевной Лишь в том, писать ли, сообщать ли о поездке Николая Петровича детям, Володьке и Нине.

Марья Николаевна настаивала, чтоб обязательно написать, пусть дети знают, что отец в поездке, да еще в такой необыкновенной – отправился по случившемуся ему видению в святую Киево-Печерскую лавру помолиться за всех страждущих и заблудших. Дети у них разумные, самостоятельные, отца за такую поездку не осудят, а, наоборот, отнесутся к ней со всем пониманием, одобряют в ответных письмах, и в первую очередь Нина, которая с недавнего времени, хотя и работает врачом по нервным болезням, пристрастилась заглядывать в церковь.

Николай же Петрович советовал с письмами не торопиться, детей зазря не будоражить, не волновать, пусть пока побудут в неведении, а то Нина, чего доброго, все бросит и примчится сюда, в деревню, с обидой и укором Николаю Петровичу, мол, богомолье, паломничество дело хорошее, но нельзя же так вот среди весны оставлять мать одну с огородом и садом. Володька, тот, понятно, не приедет: во-пер-

вых, с Дальнего Востока ему далеко, а во-вторых, он человек военный, офицер, и в больших уже чинах – полковник, его просто так, по мелочам со службы не отпустят. Письма детям можно будет написать, когда Николай Петрович вернется назад из Киева, а Марья Николаевна, даст Бог, управится с огородом. Тогда письма и поспокойней получатся, и поинтересней, Николай Петрович перескажет Володьке и Нине все увиденное-услышанное в Киеве подробно, сообщит о домашних посевных новостях, а нынче так и писать нечего, живы они с Марьей Николаевной, здоровы – вот и все известия.

Марья Николаевна в конце концов приняла сторону Николая Петровича, и не потому, что он опять заупрямился, а потому, что рассудила все по справедливости: дети Николая Петровича все равно уже не останоят, не отговорят от поездки, а лишь будут зря волноваться и переживать.

Вообще-то с детьми Николаю Петровичу и Марье Николаевне повезло. Росли Володька и Нина не в особо больших недостатках, не в баловстве, иной раз в школу босиком бегали – обувки недоставало, в колхозе отцу с матерью сызмальства помогали: Володька и пастушил, и на конной косилке работал, и силос-зеленку на волах возил; Нинка, та, понятно, больше с Марьей Николаевной в полеводческом звене, картошку полола, свеклу прорывала, зерно на току веяла. И ничего, превозмогли они эти трудности, оба выучились: Володька вначале военное училище закончил, а потом и акаде-

мию и теперь вишь какой важный – полковник, Владимир Николаевич. Нина, та попроще, поскромней, но в медицинский институт с первого раза поступила, тоже не шутка. После окончания попала по распределению в город Тосну под Ленинградом, да там и поныне живет, замуж вышла, внука и внучку Николаю Петровичу и Марье Николаевне родила. У Володьки детей тоже двое, правда, оба парня. Одно плохо, редко Володька с Ниной домой приезжают, все как-то у них не получается. А если и приезжают, так чаще всего порознь: Нина в летнюю пору, а Володька когда осенью, а когда и зимой. Расстояния дальние, да и с деньгами нынче у них плохо, даже у Володьки. Дети их толком и не знают друг друга, не роднятся, это, конечно, нехорошо, но что поделаешь, жизнь теперь такая – все в отчуждении.

О детях и внуках Николай Петрович и Марья Николаевна проговорили до самого вечера, до сумерек, а потом легли пораньше спать, потому как завтра день им предстоял еще более трудный и суетный – проводы и расставание...

Марья Николаевна, пригревшись на печке, уснула быстро, Николай же Петрович в нахолодавшей горнице долго ворочался на кровати, скрипел пружинами. И вовсе не оттого, что, к примеру, болела у него простреленная грудь или саднила к перемене погоды нога, а оттого, что одолевали его предчувствия о новом видении и встрече с седобородым стариком. Вначале Николай Петрович почему-то думал, что старик, явившись к нему во сне или в видении, непременно

скажет, мол, так и так, Николай Петрович, добрые твои намерения мы ценим и одобряем, но пока с поездкою повремени, тут нашлись люди помоложе тебя, поздоровей да и в церковных молениях и вере покрепче. Минутами Николаю Петровичу очень даже желалось именно такого исхода: поездка все-таки немало пугала его, приводила в смятение и своей дальностью, и неизведанностью. Но потом он, глядя, как мерцают при лунном уже свечении в красном углу образа, преодолевал все страхи и смятения, и теперь ему представлялось, что старик, явившись в озарении, подсядет на кровать, как, случалось, подсаживалась ночью Марья Николаевна, и начнет утешать его перед дорогой, давать напутствия и советы, как вести себя в Киево-Печерской лавре, какие слова и молитвы говорить в святых этих местах. У Николая Петровича потеплело на душе, и он гнал от себя первоначальные бессонные мысли о том, что поездку можно отложить, а то и вовсе отказаться от нее. Эти мысли пугали его гораздо сильнее, чем неизведанная дальняя дорога. Получалось, что старик не доверяет ему, сомневается, правильно ли он выбрал для столь трудного и важного дела человека. Это Николаю Петровичу было очень обидно. Он посильнее смежал веки, торопил сон, чтоб как можно скорее встретиться со стариком и все доподлинно выяснить. Сон и действительно вскоре налетел на него, крепкий и здоровый, каким Николай Петрович давно уже не спал, но старик в нем так и не появился, горница волшебным светом так и не озарилась.

Пробудившись, Николай Петрович этому, конечно, огорчился, тяжело вздохнул, а потом, встав перед образами, начал негромко молиться, укрепляя себя в мыслях, что, значит, так оно и должно быть, чтоб он сам, без посторонней помощи и подсказки, принимал необходимое решение. Тут даже Марья Николаевна ему не советчица.

И утренняя эта почти бессловесная молитва придала Николаю Петровичу стойкости и уверенности в том, что все он делает правильно, едет в предназначенную ему дорогу без всяких колебаний, которые происходят, наверное, из-за пожилого его возраста и болезней. От ночных путаных мыслей Николая Петровича остался лишь мутный нетвердый осадок, но и он постепенно истаял, когда Марья Николаевна тоже встала рядом перед образами и зашептала молитву.

Так, с молитвой, они и начали прощаться. Николай Петрович оделся во все праздничное, заколол в нагрудном кармане пиджака деньги и документы: паспорт, удостоверение участника и инвалида войны, пенсионное удостоверение. Потом Марья Николаевна помогла ему приторочить за плечи мешок, который лег между лопаток по-походному надежно и удобно. Теперь оставалось лишь на минуту присесть перед расставанием да помолчать, как того требовал давний обычай, чтоб в дороге у Николая Петровича все было легко и благополучно.

Они и присели. Николай Петрович, сложив на коленях руки, настроился на недолгое это, суеверное молчание, но Ма-

рья Николаевна вдруг обычай нарушила.

– Погодь немного, – со вздохом проговорила она и протянула Николаю Петровичу собственноручно исписанный большими буквами тетрадный листочек. – Прочитай перед дорогой.

Николай Петрович послушно поднялся, надел очки и начал читать «Молитву ко Пресвятой Богородице от человека, в путь шествовати хотящего».

Произнеся последнее слово, Николай Петрович повернулся к Марье Николаевне за советом, что же ему надлежит делать дальше, и она тут же совет этот дала, и не столько голосом, сколько одним лишь взглядом сухих, не наполненных еще прощальными слезами глаз:

– Теперь помолись.

И Николай Петрович опять послушно выполнил ее приказание. Не выпуская из рук листочка, он крепко сложил щепоткой пальцы и трижды осенил себя крестным знаменем, за каждым разом чувствуя, как молитвенные высокие слова все глубже и глубже проникают ему в душу. При этих охранительных словах никакая дорога, никакие испытания Николаю Петровичу не страшны.

Помолилась перед образами и Марья Николаевна, но какой-то иной, только ей ведомой молитвой. Проникать в тайну этой молитвы Николай Петрович не посмел, хотя и догадался, о чем она: Марья Николаевна просит святую Богородицу и ее укрепить в долготерпении, чтоб Николай Петро-

вич, вернувшись из дальних странствий, нашел дом в благополучии, а жену – в добром здравии.

Намоленный листочек они присовокупили к документам Николая Петровича, чтоб он всегда был у него под рукой, заново закололи булавкой и лишь после этого, исполняя обычай, присели на лавке. Когда же положенная минута истекла, Николай Петрович поднялся и, захватив в сенях посошок, двинулся к калитке. Марья Николаевна пошла за ним следом, стараясь ничем не выдать свою печаль и горесть перед расставанием. Николай Петрович тоже крепился, шел, как ему казалось, ровным и твердым шагом. Но возле калитки его вдруг качнуло, повело в сторону, и он невольно остановился, опираясь на посошок. От Марьи Николаевны это не укрылось, она поддержала Николая Петровича рукой, как всегда поддерживала ночью во время приступов удушья, когда ему не хватало воздуха и надо было перебраться с кровати к распахнутому окошку. Марья Николаевна, случалось, укоряла Николая Петровича за эти полуночные хождения, боясь, что возле окошка он простынет и тогда уж точно заболит по-настоящему. Но сейчас она лишь вздохнула и, стараясь скрыть за этим вздохом свое немалое беспокойство о нем, посоветовала:

– Ты к конторе подойди, может, кто хоть до Красного Поля подвезет.

– Подойду, – тверже укрепился на ногах Николай Петрович и даже оторвал от земли посошок, показывая тем самым

Марье Николаевне, что покачнулся он вовсе не от слабости, а оттого, что с непривычки оступился в хромовых сапогах на невидимом бугорке.

Теперь уже можно было прощаться окончательно. Но ни у кого из них не хватало духу, силы произнести прощальные слова первым, и, может быть, потому, что в своей жизни они разлучались очень редко, всего два-три раза, когда Николай Петрович ездил в город Тосну к Нине, приветить только что родившихся внуков, да однажды в город Липецк, где Володька находился на каких-то курсах переподготовки. К тому же Николай Петрович и Марья Николаевна были в те годы помоложе, и разлуки-расставания их тогда еще не страшили. Нынче же совсем иное дело...

Несколько минут оба они стояли в нерешительности, словно еще надеясь, что сегодня разлуки может и не случиться. Вот наконец Марья Николаевна, которая всегда была тверже в характере, опять вздохнула и, открывая калитку, произнесла необходимые слова, но они оказались вовсе не прощальными, а лишь напутственными:

– Ты ж за детей там помолись, за внуков.

– Помолюсь, – пообещал Николай Петрович, лишний раз дивясь, какая все же Марья Николаевна разумная и догадливая женщина, тоскливых, разлучающих слов не сказала, а нашла вон какие светлые и непечальные.

С таким напутствием-прощанием расставаться было легко и нестрашно, и они расстались совсем безропотно, как

будто Николай Петрович уезжал всего-навсего в район, на базар или в парикмахерскую, и к вечеру обязательно должен был вернуться назад.

На тропинке, что бежала вдоль заборов к магазину и бывшей колхозной конторе, Николай Петрович часто оглядывался и всякий раз видел, что Марья Николаевна все еще стоит у калитки, пряча под фартуком руки, какая-то совсем одинокая и всеми покинутая. Он махал ей посошком, мол, уходи, не стой понапрасну на ветру, не томись, все у меня будет хорошо, не успеешь оглянуться – а я вот он, уже на пороге, с гостинцами и рассказами. Но душа у Николая Петровича все равно замирала от тоски. Он тоже чувствовал себя одиноким и покинутым и на повороте улицы, когда маленькая, сухонькая фигурка Марьи Николаевны мелькнула в последний раз, едва не повернул назад. Удержала его лишь вовремя подоспевшая мысль, что если Бог и вправду приведет его в Киево-Печерскую лавру, то первым делом Николай Петрович помолится за Марью Николаевну, за ее здоровье, за здравие, как пишется в церковных грамотках, за то, чтоб все у нее было хорошо и благополучно, пока он отсутствует, чтоб огород вспахался-засеялся, чтоб не побило в цветении заморозками сад, чтоб была сыта-обихожена вся домашняя живность. За детей же Николай Петрович помолится вдругорядь, не видя в этом ничего обидного: во-первых, они помоложе, поздоровей, а во-вторых, мать всегда должна быть на первом месте.

От этого правильного и во всем справедливого решения Николай Петрович перестал чувствовать себя одиноким и всеми брошенным на произвол судьбы, как будто Марья Николаевна незримо шла рядом с ним. А вдвоем никакие дороги им не страшны.

Выполняя наказ Марьи Николаевны, Николай Петрович решил действительно попытать счастья и зайти к бывшей колхозной конторе. Вдруг там случится какая оказия, и его кто-нибудь подвезет на машине хотя бы до Красного Поля. А оттуда можно уже будет и на автобусе.

Николай Петрович и не заметил, как в размышлении и задумчивости дошел до конторы. Там было еще пустынно и тихо. У телефона, поджидая председателя и бухгалтеров, сидела только дежурная – пожилая и немного слабая умом женщина, Манька.

– Маня, – попытал ее Николай Петрович, – машины никакой не ожидается до Красного Поля или до города?

– Не знаю, дед Коля, – оживилась Манька, всегда большая охотница до разговоров. – Может, в обед будет, председатель вроде собирался ехать. А ты куда настроился? В баню, поди, на помывку?!

– В баню, в баню, – не стал втягиваться в долгие рассуждения с Манькой Николай Петрович, размышляя, как ему теперь лучше поступить: довериться этому сообщению насчет машины и ждать до обеда или потихоньку двигаться к Красному полю в надежде, что кто-нибудь подберет его по

дороге.

Поступил он половинно: и возле конторы не остался, и к Красному Полю сразу не пошел. Опираясь на посошок, Николай Петрович стал пробираться к магазину, который вышлся неподалеку от конторы под тремя березами и раскидистым тополем-осокорем. От магазина тоже вполне могла наладиться в город машина за какими-нибудь товарами, продуктовыми или промышленными. Так что поинтересоваться не мешало. Жаль, у Маньки не спросил – она все знает.

Манька никак не шла у Николая Петровича из головы, томила душу, хотя, казалось бы, что ему эта Манька, мало ли на свете больных и убогих. Но вот же томила, и, главное, с каким-то неведомым прежде Николаю Петровичу укором, словно это именно он был виновен в том, что Манька повреждена немного умом и часто не помнит себя. Николай Петрович попридержал шаг, стараясь унять не вовремя подкатившееся удушье, и вдруг подумал, что там, в Киево-Печерской лавре, ему обязательно надо помолиться и за Маньку, за всех убогих, божьих людей, которые нынче лишены человеческого участия и защиты. Кому же тогда еще за них и молиться, если не таким, как Николай Петрович, наказным, идущим на богомолье паломникам?

Возле магазина никаких машин видно не было, зато стоял чуть ли не впритык к двери Мишин трактор, а сам Миша, с такими же, как и сам, запойными мужиками, распивал под

осокорем первую утреннюю бутылку. Это надо же, ни свет ни заря, а они уже пьют, подняли с постели продавщицу, которая Мише отказать не может, потому как у нее тоже огород и пахать его надо.

Трактор у Мишки, правда, был заглушён. А в советские времена не раз случалось, что он работал, тарахтел возле магазина и час, и другой, пока Мишка пьянствовал. Колхозной техники и солярки ему было не жалко, за десять лет не один трактор угробил – и в речке их по пьяной лавочке топил, и о столбы-деревья разбивал, и просто так по небрежению доводил до ручки. А теперь, вишь, какой рачительный стал: пьянство пьянством, а про трактор помнит, известное дело – свое.

Подходить к Мишке и мужикам Николай Петрович не был намерен. Заведут сейчас пустые разговоры, болтовню, не отобьешься, то да се, время только зря потеряешь. Да и настрой у Николая Петровича нынче другой, душа не тем полнится. Он притаился за дверью возле почтового, единственного на всю деревню ящика и стал зорко присматриваться, не появится ли где машина. Но Мишка все-таки его заметил и закричал пьяным охрипшим голосом, пугая в соседских домах кур и гусей:

– Эй, киевлянин, заходи, посошок нальем!

Куры и гуси откликнулись на этот крик заполошным кудахтаньем и гоготанием, а Николай Петрович не знал, что ему и делать. Не подойти нельзя: Мишка человек злопамят-

ный, после будет пенять ему, мол, я звал по-людски на пошонок, а ты побрезговал, – огород тебе пахать не буду. Но и подходить не было никакого желания. Все настроение в один миг испортят, растопчут пьяным своим матом-перематом, без которого слова путного сказать не могут. Что с мужиками случилось, ума не приложишь. Ладно, раньше все на советскую власть, на колхозы грешили, мол, такие они растакие, народу свободы-воли не дают, за палочки-трудодни заставляют работать – оттого народ этот и пьет с утра пораньше. Но теперь-то воли и свободы хоть отбавляй, ан нет, с шести часов по-прежнему полгосударства в пьянстве и похмелье. Тут что-то не так! Видно, какая-то опора, основание в русском человеке надломилось, вот он и сошел с надлежащего понимания жизни.

Николай Петрович, посомневавшись еще самую малость, решил все ж таки к Мишке и его друзьям-товарищам не подходить. Даст Бог, Марья Николаевна Мишку как-нибудь сама переборет, остудит его гонор, она на это дело великая мастерица. А Николаю Петровичу нынче надо блюсти себя, не омрачать душу, надо, чтобы она осталась чистой и нетронутой, иначе от предстоящих его молений не будет никакого проку.

Николай Петрович сделал вид, что Мишкиных зазывных криков не слышит и не признает. Он отвернулся от пьяной их компании, а потом и вовсе вознамерился было укрыться в магазине, чтоб наблюдать за дорогой уже оттуда, но во-

время сдержался. Мишка ведь если загорелся на выпивку, то одной бутылкой не ограничится, прибежит сейчас за добавкой, начнет клянчить продавщицу, чтоб дала ему в долг, под будущую пахоту, и тогда Николаю Петровичу вовсе будет трудно от него отвязаться. Мишка, ничуть не стесняясь продавщицы, затеет скандал, станет корить-позорить Николая Петровича, а там дойдет дело и до матерщины. Поэтому он, подхватив посошок, сколько было проворно, перешел на другую сторону улицы и двинулся дальше, к последним околичным хатам и выгону. Мишка маневр этот Николая Петровича углядел, что-то крикнул вослед, пьяное и обидное, но Николай Петрович его не слушал, не принимал обиду близко к сердцу и вскоре действительно оказался за селом, на песчаной прямоезжей дороге к Красному Полю...

День между тем уже разгорался во всю свою весеннюю, обновляющую силу. Солнце поднялось над дорогой перво-зданно чистое и ласковое, в охотку согревало озябшую за ночь землю. И она откликалась на его тепло буйным зеленым пробуждением. Вдоль обочины, по которой шагал Николай Петрович, стали часто попадаться густые островки молодой крапивы и пырея; на придорожных ольховых кустах то там, то здесь просвечивались на солнце клейкие рубчатые листочки; в низинках и оврагах остро тревожили глаз голубые нежно-ранние колокольчики. Казалось, дохни сейчас чуть сильнее – и они тотчас же откликнутся на это дыхание праздничным колокольным перезвоном. На электри-

ческих проводах Николай Петрович несколько раз заметил восседавших рядком ласточек и совсем возрадовался. Ласточки – это, значит, уже настоящая весна и тепло.

Идти-шагать по дороге под щебетание и перелеты ласточек было легко и необременительно. Мешок, умело собранный и притороченный Марьей Николаевной, лежал точно между лопаток, не причиняя Николаю Петровичу никакого неудобства, стеганка хорошо держала накопившуюся за ночь в теле истому, сапоги знай себе поскрипывали, поговаривали за каждым шагом. При таком ходе посошок Николаю Петровичу почти был не нужен, и он, давая отдых рукам, часто попастушьи закидывал его на плечи. И тут же Николаю Петровичу начинало чудиться, что это вовсе не рябиновый посошок, а винтовка-трехлинейка образца 1891 года, № 32854, и что идет он не один, а рядом с товарищами по пехотному взводу и роте к новому месту дислокации, к новому рубежу, который известен лишь командиру взвода старшему лейтенанту Сергачеву. Точно так же светит утреннее весеннее солнце, щебечут ласточки, зеленеет на обочине молодая крапива, манят к себе в овраг и низинку, где еще, случается, лежит снег, голубые колокольчики-перезвоны. Но надо идти-торопиться, потому что там, впереди, откуда доносится орудийный гул, их ждут не дождутся поредевшие и уже с трудом сдерживающие противника пехотные цепи.

– Подтянись! – время от времени покрикивает старший лейтенант.

Николай послушно отгоняет от себя неодолимое желание спуститься в эти низины и овраги, чтоб хоть пяток минут посидеть, передохнуть вблизи голубых колокольчиков, поправляет на плече понадежней винтовку и убыстряет шаг.

... На фронт Николая призвали в начале июля сорок первого года. Был он тогда совсем еще молодым, всего восемнадцатилетним парнем, в армию собирался только к осени. Но война поторопила, сдвинула все сроки. Два месяца Николай находился в учебных лагерях, осваивал курс молодого бойца, обретал какие-никакие навыки дальнего и ближнего, рукопашного боя. Собственно же на фронт попал лишь в конце сентября, когда враг уже одолел Смоленск и начал подступать к Москве. Времена были тяжелые, порой казалось, что и вообще непоправимые. Всего тогда Николаю пришлось изведать: и страха-растерянности первого боя, и какое-то неведомое до этого, безотчетное чувство ликования и одновременно тоски, когда он увидел, что именно его пулей убит высокий белобрысый немец, еще мгновение тому назад бежавший навстречу Николаю с коротеньким автоматом-шмайсером наперевес. И особенно запали ему в память дни окружения и разрозненного выхода из него по лесным и болотным топям. От их роты осталась всего горсточка солдат и офицеров, раненных, донельзя уставших и обессиленных. Но и та вскоре рассыпалась, потому что принято было решение выходить к своим по два-три человека. И, слава Богу, вышли, всего лишь несколько раз натолкнувшись на немцев в

подмосковных уже деревнях, куда волей-неволей пришлось заглядывать – оголодали ведь донельзя. В коротеньких этих стычках-перестрелках они потеряли одного человека, киргиза Маматова, который по неосторожности постучался в дом полиция и тем всполошил все село. Немцы кинулись за Маматовым в погоню и подсекли его на огородах. А остальные окруженцы, дожидавшиеся его в лесу, ушли невредимыми.

Конечно, теперь прошлого не вернешь, доподлинно не рассудишь, кто тогда был прав, а кто виноват: Маматов, добровольно вызвавшийся в разведку, или окруженцы, предусмотрительно засевшие в лесу, так что Николаю Петровичу остается лишь одно – помолиться в Печерской лавре за упокой души погибшего на поле брани рядового Маматова, хотя он и не православной был веры человек. Помолиться надо и за всех остальных, убиенных на той ненасытной войне, православных и неправославных – Бог един и моление то примет. Самому же Николаю Петровичу, помолившись, надо покаяться всей душой и сердцем, если в чем перед ними, павшими, был виновен. Бог милостив – примет и покаяние, хотя было бы лучше, чтоб он хоть на один день вернул до срока сгубленных боевых друзей-товарищей Николая Петровича.

Ранило Николая Петровича в первом после окружения бою. Видимо, от счастья, что наконец оказался среди своих, что удачно прошел проверку в особом отделе, он расслабился, а может, просто во время окружения и блуждания по лесам потерял необходимую в наступательном бою сноров-

ку. Вот и поплатился за это головокружение! Не успели они выскочить из окопов и пробежать метров двести по раскисшему картофельному полю, как пуля и выследила его среди не больно густой солдатской цепи. И что обидно: за мгновение до этого он хотел было укрыться за небольшим кустиком, росшим на обмежке, но побрезговал столь ненадежным укрытием, проскочил мимо, совсем не вовремя подумав, что в первом после возвращения в строй бою ему ловчить не к лицу, надо показать себя бойцом храбрым и надежным. Пуля попала Николаю в грудь, чуть пониже ключицы (ту, что пробила ему легкое, он поймал гораздо позже, под Кенигсбергом, возле немецкого городка Тапиау) и вышла поверх лопатки. Ранение, в общем-то, не самое худшее, но Николай от испуга (чего уж тут таиться) и страшной мысли, что всё – убит, на всем бегу упал в грязное картофельное поле и потерял сознание. Когда же пришел в себя и огляделся, то увидел лишь пустынное это поле – и ни одной человеческой души вокруг: товарищи его потеснили немцев и ушли дальше, за небольшой холмик-высотку, покрытый перелеском. Николай попробовал было подняться, чтоб идти в тыл к своим, но ничего у него из этого не получилось: видимо, он слишком потерял крови, пока лежал без сознания, и силы совсем покинули его. Ничего не вышло у Николая и из намерения ползти по картофельному топкому полю: было оно вконец размытым осенними частыми в том году дождями и каким-то провальным-скользким – как он ни пытался ухватить-

ся за какую-либо былинку или земляной бугорок, все предательски протекало между пальцев, не давая никакой опоры. После одной-двух подобных попыток Николай бросил бесполезное это занятие и с тоскою подумал, что, стало быть, такая у него судьба – помереть здесь, среди пустынного слякотного поля...

И наверное помер бы, не пошли ему Бог Ангела-Спасителя в образе совсем молоденькой конопатой девчушки-санструктора, которая не прошла мимо совсем окоченевшего и приготовившегося уже к смерти бойца. Она, кажется, не столько увидела, сколько догадалась, что он еще живой, упала рядом с ним, опасаясь дальнего артиллерийского огня, который запоздало открыли немцы, и, наскоро перевязывая Николая, начала вдруг не утешать его, а стыдить:

– Ты что это, солдатик, раскис!

И Николаю действительно стало стыдно, что вот он, молодой крепкий парень, так с испугу устранился не больно сильного ранения, растерялся и готов безропотно помереть в холодной провальной грязи. Он приободрился, преодолел свои страхи и, когда девчушка приказала-повелела ему: «Вставай, вставай!» – нашел в себе силы и желание встать и идти, опираясь левой рукой на ее худенькое острое плечо, а правой – на верную свою мосиновскую винтовку. Девчушка эта (звали ее, кажется, Соня) оказалась на редкость крепенькой и настырной. Поддерживая Николая, она то уговаривала его не поддаваться минутной слабости, терпеть ра-

нение и боль, как положено их терпеть настоящему русско-
му солдату, то опять укоряла и стыдила его за преступное,
недостойное бойца Красной Армии малодушие. Николай во
всем слушался ее, как будто эта конопатая Соня была не его
ровесницей, совсем еще девчушкой, а взрослой женщиной,
старшей сестрой или даже матерью... С тех пор Николай и
стал во всем подчиняться женщинам, остро почувствовав их
материнское начало, догадавшись, что какой бы женщина ни
была молодой и юной, она всегда старше и опытней мужчи-
ны, который устает от своего напускного мужества и требует
ее участия и жалости. Поэтому и сейчас, в стариковской сво-
ей жизни, Николай Петрович мало когда перечит, сопротив-
ляется Марье Николаевне, признавая ее женскую правду и
справедливость. Многие деревенские мужики посмеивают-
ся над ним за такое добровольное подчинение, но что Нико-
лаю Петровичу до их насмешек – мужики эти гораздо моло-
же его, они в сорок первом году не уходили по склизкому
картофельному полю, опираясь на хрупкое Сонино плечо, от
верной гибели и смерти. И не им судить Николая Петровича.
А те, кто судить могли, имели на это полное право, все до
единого лежат на деревенском их кладбище. На сегодняш-
ний день Николай Петрович в Малых Волошках последний
оставшийся в живых фронтовик. Вот окажись нынче рядом
Соня, он легко бы отдался на ее суд, на ее укоры. Но где те-
перь эта отчаянная, двужильная Соня, жива ли, здорова ли,
уцелела ли на губительной, проклятой войне, где, в общем-то,

таким девчушкам, как она, было не место, или тоже давно покоится под могильным холмиком.

Вспоминая о Соне, Николай Петрович уверенней укреплялся на тропинке, делал шире и надежней шаг, вприщур поглядывал на солнышко, которое поднималось все выше и выше, и вдруг поймал себя на мысли, что уж если и надо ему за кого помолиться в Киево-Печерской лавре, так это перво-наперво за своего Ангела-Спасителя, за бывшего санинструктора пехотной их роты конопатую девчушку Соню. Одна тут только возникает сложность: за здоровье ее молиться или за упокой? Может, действительно остался от этой Сони один только могильный бугорок, где-нибудь на опушке леса, давно оплывший и всеми забытый.

... До Красного Поля Николай Петрович дошел только ко обеду и, надо сказать, здорово притомился. Последние километры брел уже с натугою, все основательней и основательней опираясь на посошок. Левая, простреленная нога, зажатая в туговатый все же сапог, начала заметно побаливать, и Николай Петрович вынужден был несколько раз останавливаться, присаживаться то на поваленное у обочины дерево, то на сохранившийся еще от санной зимней дороги клочок сена, чтоб дать ей какой-никакой отдых. По-настоящему же набраться новых сил он рассчитывал в автобусе, где ему, старику и ветерану, местечко как-нибудь найдется...

Но на автобусной остановке его нежданно-негаданно подстерегало огорчение. По расчетам Николая Петровича, авто-

бус должен был появиться с минуты на минуту. В надежде на это он даже не стал располагаться на лавочке под навесом – отдохнуть не отдохнешь, а только расслабишься, разомлешь. Но автобуса все не было и не было. Николай Петрович начал беспокоиться, догадываясь, что тут что-то не так: на остановке, кроме него, больше нет ни единого человека, а ведь должны быть – проехать в город у многих есть необходимость.

Бесполезно так потратив минут десять-пятнадцать, Николай Петрович решил разузнать у кого-нибудь из местных жителей, что за приключение нынче с автобусом. Неподалеку от остановки в кустах краснотала он заметил стадо исхудавших за зиму коз, а при них суетную старушку с хворостинкой в руках. Спустившись по нетвердой насыпи к зарослям, где козы уже находили себе какую-никакую травинку или наливающуюся сладким живительным соком почку, Николай Петрович затронул проворную бабку-пастушку:

– Скажи на милость, автобус до города ходит или как?

Бабка тут же забыла про коз, подступила к Николаю Петровичу поближе и пустилась в долгие объяснения:

– Какой там автобус! Бензина, говорят, нету. С Рождества ни разу не ходил, ты попусту не жди!

– А как же добираетесь, если что? – полюбопытствовал Николай Петрович.

– Да никак! – все больше волновалась бабка. – Дома сидим, телевизор смотрим. Хлеб раз в неделю подвозят, и на

том спасибо. Но сегодня день не хлебный.

Чувствовалось, что бабке донельзя надоело пререкаться с непослушными козами, которые то и дело норовили разбрестись по всему полю, и она рада-радешенька была появлению Николая Петровича. В какой-нибудь иной раз он с большим даже интересом послушал бы говорливую бабку-пастушку, ее жалобы-обиды. Бабка эта, судя по возрасту, приходилась Николаю Петровичу ровесницей и, поди, доживала свой век в сиротстве и одиночестве. Мужчине не поговорить с ней, не выслушать ее жалобы-напасти было бы грешно и неуважительно. Но сегодня у Николая Петровича случай особый, он не по праздному делу собрался в путь-дорогу, так что пусть уж бабка не сердает на него за недолгую беседу. Николаю Петровичу теперь надо думать-размышлять, как же ему добираться дальше до города.

– Ну, прощай, пастушка, – улыбнулся он, стараясь хоть так приветить беспокойную свою ровесницу.

Но бабка прощаться, кажется, еще не была намерена. Она попристальной оглядела Николая Петровича и принялась до тошно расспрашивать его, как будто разговор у них только начинался:

– А ты, чай, из Малых Волошек будешь?

– Из Волошек, – не посмел так вот, на полуслове оборвать бабку и уйти своей дорогой Николай Петрович.

– То-то я гляжу – не наш! У нас таких справных стариков уже и не осталось.

Женская эта незатейливая похвала пришлась Николаю Петровичу по душе. Он действительно вдруг почувствовал себя по-молодому здоровым и крепким мужчиною, которому до старого, предельного возраста надо еще жить да жить. Усталость его и тревожное беспокойство о дальнейшем пути как-то почти мгновенно прошли, и он задержался возле старушки еще на несколько минут. Она этому обрадовалась и совсем разохотилась на беседу:

– В гости снарядился или так, по делу?

– По делу, – не стал и бабке раскрывать всю правду Николай Петрович насчет своей поездки, опять суеверно боясь, что если он кому-нибудь до срока расскажет, то ничего из его замысла не получится.

– И важное дело? – не унималась бабка.

– Важное, – вздохнул Николай Петрович, поудобней опираясь на посошок.

Бабка сразу присмирела, притихла, поверив этому невольному вырвавшемуся его вздоху, но допытываться истины не стала, а в свою очередь тоже глубоко вздохнула, выдавая печальные старушечьи мысли, которые, должно быть, одолевают ее тут в чистом поле:

– Как на войну собрался, с мешком!

– Хаживал и на войну, – еще тяжелей оперся на посошок Николай Петрович.

– Мой тоже хаживал, – минуту помолчав, ответно пригорюнилась бабка. – Да так до сих пор и бродит где-то...

Теперь промолчал, не нашелся сразу, что ответить, Николай Петрович. Ровесников его на той войне осталось видимо-невидимо, бродят в чистых полях незримыми тенями, вызывают к милосердию и памяти. Домой их, к женам, детям и внукам, сколько ни рви сердце, уже не дождешься. Остается опять-таки только одно: молиться за безвременно павших, чтоб там, в полях, души их не были так бесприютны и брошены, как брошены в живой жизни солдатские вдовы.

– Ну, иди с Богом, – словно догадалась о горестных рассуждениях Николая Петровича старушка. – Иди, может, кто и подберет, свет не без добрых людей.

И так ласково, с таким участием она это сказала, что Николай Петрович на мгновение даже задохнулся от запоздалой жалости к одинокой своей ровеснице, а еще оттого, что на него вдруг ощутимо повеяло тем далеким, военным и послевоенным родством, которым люди тогда жили и выживали и которое теперь напрочь забылось и развеялось в прах...

– И ты оставайся с Богом, – только и нашел что сказать старушке Николай Петрович и стал взбираться назад на насыпь, чаще обычного подсобляя себе посошком.

... Стоять под дощатым, продуваемым ветром со всех сторон навесом Николаю Петровичу не было теперь никакого резона. Попутная машина если и появится, то, скорее всего, подберет кого-нибудь из своих, краснопольских жителей, а его, заезжего, оставит без внимания. Тут предстояло решаться на что-то иное. Выбор, правда, у Николая Петровича был

невелик. Можно, конечно, было потихоньку идти и идти по шляху дальше, как шел и дотопал бы. А можно было пойти к племяннице, жившей в Красном Поле, заночевать у нее, чтоб в дальнейшую дорогу отправиться поутру, со свежими силами. Но толком пока не проглядывалось ни то, ни другое. Идти по шляху было заманчиво, но натруженная нога совсем стала побаливать, требовала отдыха и покоя, да и все истомившееся тело тоже нуждалось в отдохновении. Мешок у Николая Петровича хотя и не больно тяжел, но уже основательно натер плечи, тянул вниз, и на подступах к Красному Полю его приходилось то и дело поправлять-поддерживать. При таком положении далеко не уйдешь, тут никакой посошок не поможет.

Племянница, конечно, примет Николая Петровича с радостью, оставит на ночь. Он в этом не сомневался: женщина она душевная, обходительная, вся в покойную мать, старшую сестру Марьи Николаевны. Но тревожить ее, отвлекать от работы и домашних дел Николаю Петровичу не хотелось, а еще больше не хотелось рассказывать, куда это он и зачем собрался в столь дальнюю дорогу на старости лет. Племянница, зная, что здоровьем Николай Петрович теперь уже не больно крепок, начнет волноваться, отговаривать его, призовет на помощь мужа, детей, и неизвестно еще, устоит ли под их напором Николай Петрович. Да племянницы сейчас, наверное, и нет дома, работает она в сельпо бухгалтером, с утра

до ночи там пропадает, к ней лучше к вечеру заявляться.

В общем, дела у него получались невеселые. Поразмышляв над ними еще самую малость, Николай Петрович решил поступить пока уклончиво и неопределенно: выбрать за околицу Красного Поля, передохнуть там где-либо на свежем воздухе, не привлекая ничьего внимания праздным своим видом, перекусить припасами Марьи Николаевны, а окончательно определиться поближе к вечеру, после привала. Может, действительно надумает он пойти к племяннице, тем более что живет она поближе к околице, хотя и немного в стороне от асфальта, на отделенном от остального села ручейком островке, который в Красном Поле все зовут Сахалином.

Николай Петрович так и поступил. Превозмогая боль в натруженной ноге, он выбрался за околицу и удачливо обнаружил там на опушке хвойного вечнозеленого леса прошлогодний стожок соломы. Лучшего места для привала нельзя было и придумать.

Первым делом Николай Петрович решил развести костерок. Весна весною, а земля еще как следует не прогрелась, настоящее тепло только на подходе, и особенно здесь, в низинке возле хвойного леса. Без костерка можно озябнуть, подхватить простуду, а ему сейчас это ни к чему.

Не углубляясь далеко в лес, чтоб часом не заблудиться в незнакомой местности, Николай Петрович набрал охапку сухих веток – валежника, наломал их и сложил шалашиком.

Потом притащил к шалашику небольшой пенек, который обнаружил в зарослях молодого сосняка. Теперь у него получилось совсем завидное становище: впереди – непролазный лес-чащоба; со спины – укрывающий от ветра стожок соломы; а по сторонам – дорога и тот ручеек, что отделяет Красное Поле от хуторка по названию Сахалин. Тут путнику самый отдых...

Костерок занялся с одной спички, с одного пучка сухой пшеничной соломы. Веточки сразу затрещали, полыхнули на Николая Петровича печным теплом и жаром, и он даже вынужден был отодвинуть чуть подальше пенек.

Давно Николай Петрович не сиживал так беззаботно возле костерка. В крестьянской жизни особо прохладяться не приходится, ежечасно в ней есть занятия, работа. Костерок если и запалишь когда, так только по делу: лодку засмолить, ненужный какой мусор-бурьян пожечь или чтоб обогреться на лугу возле стада во время дождя и непогоды.

Николай Петрович развязал мешок и разложил съестные свои яства на чистом льняном лоскутке, который заботливо положила ему в дорогу Марья Николаевна, словно предвидя, что у него непременно случится подобный привал.

Но есть Николай Петрович сразу не стал, вдруг поймав себя на давней, военной еще поры мысли, что надо бы подождать, пока рассядутся вокруг костерка товарищи по отделению, повесят над полыхающим огнем походный чайник. Ему даже послышались в лесной чащобе чьи-то шаги, позвяки-

вание саперных лопаток, оружия, а потом и приглушенные голоса, среди которых резко выделялся командирский голос старшего лейтенанта Сергачева.

Николай Петрович совсем отрезвился от нынешней жизни, стал терпеливо ждать приближения друзей, привычно прикидывая, как лучше разделить кусочек сала и буханку хлеба, чтоб хватило понемногу на всех. И фронтовые его надежные друзья действительно явились к нему и незрими-ми тенями сели вокруг костра. Под утомленными их взглядами Николай Петрович разделил хлеб и сало точно поровну, никому не уменьшив порцию, никого не обидев. Потом, заслуженно похваляясь, что сало домашнее, собственноручно засоленное Марьей Николаевной (а она в этом деле великая мастерица), он взял первую попавшуюся долю и начал уже было передавать ее в заскорузлую ладонь самого старшего в их отделении, почти пятидесятилетнего солдата Ивана Махоткина, но костерок, в который Николай Петрович подзабыл вовремя подбросить веток, вдруг опал, засеребрился пеплом – и тени тут же исчезли, удалились куда-то в поля, за холмы и ручей, все так же позванивая саперными лопатками и о чем-то тихо переговариваясь...

Николай Петрович мгновенно пробудился, пришел в себя и, понапрасну оглядываясь вокруг, лишь горько вздохнул: нет, никто из его первого пехотного отделения возле костерка сейчас объявиться не может, и тем более старший лейтенант Сергачев. Погиб он, как и киргиз Маматов, тоже на гла-

зах у Николая Петровича. Правда, уже в наступательных боях после Сталинграда, куда военная судьба забросила Николая осенью сорок второго года.

Первое ранение Николая, вопреки надеждам его спасительницы Сони, оказалось не таким уж и безобидным. Под ключицею была задета какая-то жизненно важная жила, и скорому лечению в медсанбате она не поддавалась. Да и какое там могло быть лечение, ведь войска все еще отступали, пятились назад, уже вплотную упираясь в Москву. Заботами все той же Сони Николай с набрякшей, горящей огнем раной попал в санитарный эшелон и уехал через всю Россию в далекий, не затронутый войной город Уфу.

Провалился он там целых полгода, вытерпел несколько операций, потом месяца полтора был еще в запасном полку, где собрались в основном такие, как он, перекалеченные в попятных боях солдаты да зеленая, необстрелянная молодежь.

В ногу осколком Николая ранило почти в родных его местах – под Курском, когда они переправлялись через реку Сейм. Но он и там избежал гибели, сумел выплыть на берег, хотя и нахлебался воды вдоволь. А ребята, что плыли вместе с ним на одном плотике, все ушли на дно, в том числе и Иван Махоткин, до этого тоже очень осторожный и удачливый солдат.

Вообще Николай Петрович, должно быть, родился под счастливой звездой. Почти всю войну прошел в пехоте и жив

остался. Случай, можно сказать, редкий, ведь жизни каждому пехотинцу было определено не больше тридцати дней – вот она какой была, та, нынче почти совсем уже забытая война. И, может быть, именно потому пал выбор седобородого старика на Николая Петровича, мол, ты один-единственный уцелел со своего взвода, а теперь вот в Малых Волошках единственный, последний участник войны, – так кому еще иному, как не тебе, идти в дальнюю дорогу, к Киево-Печерской лавре, чтоб помолиться за всех живых и павших. И не надо сетовать на тяготы и лишения этой дороги, любой из твоих погибших друзей с радостью пошел бы вместо тебя, но из темной погибельной земли им уже не подняться...

Николай Петрович подбросил в костер веток, а сам пошел с алюминиевой кружкой к ручейку, чтоб набрать там воды да согреть фронтowego кипятка-чая. Ручеек, наполненный почти до самых краев талыми стоками, змейкою бежал по начинающему зеленеть лугу, бурлил, клокотал на поворотах, как будто все время на кого-то и на что-то сердясь. Николай Петрович присел на дощатой кладочке, заботливо брошенной окрестными мужиками с крутого берега до кипящей стремнины, и зачерпнул кружкой.

Вода была по-весеннему мутной, неотстоявшейся, но Николай Петрович ничуть этому не огорчился. Вскипит, наполнится горячим паром и посветлеет, очистится. Не такую пивали: из болота, из копытного следа.

Чай у Николая Петровича получился крепкий, настоян-

ный. Куда твоя покупная заварка! От первых его глотков голова по-молодому закружилась, поплыла, а тело, наоборот, посвежело. К такому вот ежевично-смородиновому чаю Николай Петрович был приучен с самого детства отцом, когда совместно они пастушили по лугам и лесным опушкам. Да потом и на фронте не раз приходилось испробовать, там ведь настоящая заварка не часто случалась. Почитай, только в госпитале и попьешь покупного чаю, а в окопах все больше свой, крестьянский: летом и душицею, и чабрецом, и звербоем можно разжиться, а в остальные времена сорвешь так вот листочек-веточку малины или смородины и пьешь-наслаждаешься за милую душу.

Николай Петрович и сейчас, сидя на чурбачке, блаженствовал, торжествовал. И в торжестве своем решил, что в Киево-Печерской лавре надо будет непременно помолиться и за этот весенний нарочито сердитый ручеек, и за пойменные луга, и за холмы – чтоб все жило в природе свободно и вольно, никем не притесняемое, жило и давало жизнь человеку...

Потом Николай Петрович аккуратно и тщательно собрал походный свой мешок и решил час-другой, пока совсем не заведереет, полежать на прогретой солнцем соломе. С подветренной, порушенной, должно быть, скотниками стороны Николай Петрович пробрал себе небольшое углубление и совсем по-мальчишески, как в давние пастушьи времена, забрался в него. Поначалу лежать было немного прохладно: солома пропиталась теплом только сверху, а чуть копни, она

еще стылая и волглая. Николай Петрович даже подумал, что Марья Николаевна подобный его поступок не одобрила бы, сказала бы с укором: вот так ты всегда, сделаешь что-либо не сообразясь, а потом ночью маета, приступ, зовем фельдшерицу. Но вскоре Николай Петрович согрелся, надышал в лежбище горячего воздуха, предварительно укрывшись соломой по самую грудь. Укоризненные слова Марьи Николаевны быстро забылись, и Николай Петрович в тепле и отдохновении неподвижно лежал в стожке, глядя в высокое прозрачное небо. Ничто его не беспокоило, не тревожило, вот разве что изредка прямо над стожком проносились в луга, поближе к ручью стайки весенних стремительных чирков. Но они ничуть не мешали Николаю Петровичу, а наоборот, убаюкивали его и как бы охраняли с высоты неудержимого своего полета.

Сон пришел к Николаю Петровичу как-то совсем незаметно, исподволь. Еще мгновение тому назад он вроде бы вполне осознанно следил за приближением очередной утиной стайки, и вдруг глаза закрылись сами собой, и все куда-то поплыло и провалилось, увлекая за собой и птиц, и небо, и далекий, окаймленный лесной полосой горизонт...

Спал Николай Петрович крепко и по-детски блаженно. Так доводилось ему спать действительно лишь в детские годы, при отце с матерью, на жарко натопленной печке, покрытой свежевystираным, пахнущим речной водой и морозом рядом, когда спишь и еще тебе спать хочется. И так

же по-младенчески Николаю Петровичу ничего не снилось, не грезилось, сон был чистым и глубоким: натомившись за день, тело отдыхало, набиралось новых сил. Николай Петрович чувствовал это даже сквозь дрему, радовался, что болезненные его раны сегодня молчат, словно тоже притомились болеть, и что нынче Марью Николаевну ему беспокоить не надо, пусть хоть одну ночь выспится как следует. Времени во сне Николай Петрович не осознавал, спал себе и спал, безмятежно и сладко, и вдруг уже перед самым пробуждением вспыхнул перед ним волшебный, неземной какой-то свет, горница (Николай Петрович точно видел, что это домашняя их горница с грубкой-лежанкой и образами в красном углу) озарилась серебряным сиянием, и в этом сиянии расплывчато начала проступать фигура седобородого старика с посохом в руках. Николай Петрович весь напрягся, поднял голову и вознамерился было дерзко спросить у старика, за что ему такая милость-наказание – ехать в немощной своей и некрепкой вере в Киево-Печерскую лавру – и нельзя ли подменить его кем-либо помоложе, поздоровей и, главное, в вере потверже. Но фигура старика, до конца так и не проявившись, исчезла за дверью, оставив Николая Петровича в полной растерянности и неведении. Он окликнул Марью Николаевну, чтоб та как-нибудь задержала гостя и, может быть, сама основательно расспросила его обо всем...

От этого громкого тревожного крика Николай Петрович и проснулся. Секунду-другую он никак не мог сообразить,

где он и что с ним. Вокруг была глубокая, устоявшаяся ночь; прямо над головой Николая Петровича висела огромная, занимающая, казалось, полнеба, луна. Она сияла действительно каким-то неземным чудным светом, вызывая заблудшего среди луга и поля Николая Петровича лишь к одному-единственному – к молчанию и молитве. Он все вспомнил, все осознал и, обретая дневную бодрость, как мог, помолился все еще стоящим у него перед глазами домашним образам. Явление же старика Николай Петрович воспринял с благодарностью и надеждой. Стало быть, не оставляет он его в пути-дороге, следит, и если, не дай Бог, случится с Николаем Петровичем какая-нибудь неожиданность и беда, так непременно окажет ему помощь...

Идти к племяннице теперь уже было, конечно, никак нельзя. Переположишь среди ночи людей, сторяча они подумают, что пришел он с какой-нибудь нехорошей вестью о Марье Николаевне, о детях или о близкой совместной родне, – в неурочное такое время попусту не ходят. Так что лучше всего отложить гостевание на обратную дорогу. Тогда можно будет налегке рассказать племяннице о ночном своем приключении возле ручья, как он, натомившись за день, уснул в стогу соломы да и проспал кряду часов восемь. Вместе они посмеются над незадачливым этим приключением, а нынче надо, скоротав в стогу остаток ночи, двигаться дальше, к городу. Поутру, может, кто-нибудь его и подберет. В Красном Поле машин побольше, чем в Малых Волошках,

по асфальту они спозаранку пробегают поминутно: кто на работу в город, кто в больницу-поликлинику, а кто по всяким другим необходимым делам. Неужто не найдется ни одной сердобольной души, чтоб подобрать бредущего по дороге старика?

Николай Петрович так и сделал: поплотнее укрылся соломой и, уходя от яркого, призывающего к бодрствованию и молитве сияния луны, опять смежил веки. Но сон больше не шел; лунный свет со всех сторон цепко окутывал голову, будоражил в ней всякие горестные мысли то о брошенной на произвол судьбы Марье Николаевне, то о дальней еще дороге до Киева, которая с самого начала складывается у Николая Петровича не больно удачно, то о старике-наставителе, мелькнувшем в сонном волшебном свете, но так и не пожелавшем вступить с Николаем Петровичем в беседу.

Николай Петрович вздохнул и бросил бесполезные свои борения со сном. Отыскав лежавший рядом посошок, он высвободился из соломенного лежбища, встал на ноги и в одночасье легко решил, что дожидаться утра, валяясь в остывающем стожку, больше не надо, дополнительной бодрости это валяние не прибавит, а, наоборот, только утомит. Лучше отправиться в дорогу сейчас же, немедленно, чтоб к рассвету (а он уже не за горами, горизонт на востоке вот-вот начнет светлеть, побеждая мягким дневным светом резкое лунное сияние) постепенно втянуться в движение, одолеть первые, всегда самые тяжелые в пути километры. В ночи идти даже

легче: темнота подгоняет, торопит к наступающему дню...

В своих ожиданиях Николай Петрович действительно не обманулся. Шлось ему по ночной, никем не занятой дороге легко и вольно. Он опять несколько раз закидывал посошок на плечи, по-пастушьи придерживал его еще не утомленными руками, и посошок был именно посошком, а не винтовкой-трехлинейкой, непомерно тяжелой в дальнем ночном переходе. Впереди и рядом с собой Николаю Петровичу тоже слышались не переговоры солдат (многие из них к утру погибли в неожиданном встречном бою), не покрикивание старшего лейтенанта Сергачева, а вполне мирное мычание коров, блеяние овец и коз, которых по давно заведенному в Малых Волошках обычаю выпускают на пастбище совместно с коровьим стадом. Иногда чуткое ухо Николая Петровича улавливало далекое ржание лошадиного табуна. Он ускорял шаг, чтоб попридержать стадо. Ведь сколько раз случилось, что в небольшом переулке, уходящем в луга, коровье стадо и лошадиный табун, который в рассветные эти, сумеречные еще часы возвращался из ночного, сталкивались – и не всегда такие столкновения заканчивались мирно. Коровы начинали бунтовать, грозно замахиваться рогами; лошади, чувствуя поначалу свою слабость, шарахались от них, поплотнее жались к плетням и заборам, но потом преодолевали испуг, поворачивались к налетчикам крупами – и тут еще неизвестно, кто бы мог выйти победителем, не вмешавшись пастухи и табунщики. Им приходилось пускать в ход и по-

сошки, и кнуты-пуги, чтоб кое-как развести неприятелей и избежать побоища. А если, не дай Бог, в стаде был племенной бык Митрошка с кольцом в ноздрях и охранной доской на лбу, а в лошадином табуне жеребец Буян, то тогда и вообще дела могли обернуться плохо, тут уж никакие посошки и пуги не помогут, того и гляди, в ярости и обиде достанется и погонщикам.

Николай Петрович и сейчас по давней, не забытой, оказывается, привычке надал ходу, готовя на замах посошок, чтоб попридержать стадо на широкой улице, пока табун пронесется по переулку к колхозному двору. Но, похоже, он все-таки не успел, потому что вдруг из предрассветного тумана прямо на него и вправду надвинулась лошадиная костистая голова.

Николай Петрович, охранительно выставляя вперед посошок, отпрянул в сторону, попристальней взгляделся в туман и только тут различил вслед за лошадью телегу, а на ней щупленького мужика в телогрейке и зимней еще шапке. Мужик тоже различил его и, выворачивая телегу из поперечной грунтовой дороги на столбовую, асфальтную, негромко прокричал:

– Да ты не бойся, она смирная!

– А я и не боюсь, – ответил Николай Петрович, опуская посошок.

Мужик туго натянул вожжи и попридержал подводу:

– Садись, если до города. Вдвоем веселей.

– Эт точно, – без долгих уговоров согласился Николай Петрович и, наступив для верности на ступицу заднего колеса, сел на грядущку.

Мужик поослабил вожжи, легонько прихлопнул ими по крупу лошади; та фыркнула, заржала и почти с первого шага затрусила мелкой рысцей, словно радуясь, что наконец-то они выбрались с проселочной, не оправившейся еще от весенней распутицы дороги на асфальт, где катить телегу во все не обременительно.

Ехать в молчании Николаю Петровичу было неудобно: получалось, что он как бы и не очень рад неожиданно появившейся этой попутной подводе. Николай Петрович поосновательней уселся на соломенной подстилке и первым начал разговор:

– А я слышу, лошадь заржала. Думал, табун где.

– Какой нынче табун, – быстро откликнулся, тоже, должно быть, устав от молчания, мужик. – Перевелись давно табуны. Это у моей Марфуши стригунок тут, вот она и беспокоится, чтоб не заблудился в тумане.

Мужик опять попридержал подводу и, вглядываясь в плотный, но уже светлеющий туман, звонко и протяжно позвал:

– Кось-козь-козь!..

И тут же из тумана выбежал на асфальт совсем еще маленький жеребенок, бойко зацокал копытцами, ткнулся раздругой в бок матери мордочкой, виновато откликаясь на ее

осуждающее ржание.

– Ишь, какой шустрый, – похвалил жеребенка мужик. – Прямо куда твой рысак!

Николай Петрович тоже залюбовался стригунком, по-детски еще длинноногим, нескладным, но природно широким в кости, обещающим стать в будущем настоящим скакуном и работником.

– Боевой будет конь, – поддержал мужика в законной его гордости Николай Петрович, кое-что в лошадиных делах понимающий.

Разговор возник у них вроде бы случайный, мимоходный, но как-то сразу крепко соединивший Николая Петровича с мужиком. Можно было подумать, что они знакомы с ним давным-давно и едут так вот в одной телеге по общему делу не в первый раз. Николай Петрович единению этому обрадовался и совсем уж по-свойски, как старого знакомца, попытал мужика:

– А ты чего в такую рань?

– Так ведь дело неотложное, – охотно откликнулся на его любопытство мужик. – Жена сына родила, еду забирать.

– Ну, брат, поздравляю, – чистосердечно приветил мужика Николай Петрович, но минуту спустя маленько и укорил его: – А чего ж не машиною? Машиною поживей было бы, а то еще, не дай Бог, застудишь в дороге.

– Не-ет, – решительно отвел укоры Николая Петровича мужик. – Жена у меня машин не любит, укачивает ее в них

сильно. Да и не сговоришься сейчас ни с кем: у того бензина нет, у того поломка какая-нибудь. Лучше уж подвоною, по старинке. Я всех детей из роддома подвоною привозил.

– А у тебя много их? – опять полюбопытствовал Николай Петрович, только теперь различив, что мужик в общем-то уже в возрасте, лет сорока пяти, ему бы внуков пора из роддома возить.

– Много, – не без гордости, но как бы в чем-то и винясь, ответил мужик. – Шесть девок и вот наконец – сын!

– Ого! – от души восхитился Николай Петрович. – По нынешним временам столько детей редко у кого бывает.

– Так вышло, – снова словно застеснялся чего мужик. – Родится дочь, я жене вроде бы как с обидою и говорю: это еще не мои дети, мои еще будут. Она и старается. Но все дочь да дочь выходит. И вот теперь парень.

– Дочери тоже хорошо, – вспоминая свою Нину, попытался утешить мужика Николай Петрович. – По себе знаю.

– Да я не в претензии, – легко разгадал его тайные намерения тот. – Девки у меня все ладные. Две уже замужем, сами детей нянчат. Но сын есть сын. Продолжатель фамилии, рода.

– Это правда, – вспомнил и Володьку Николай Петрович.

Он вознамерился было рассказать мужику о своих детях и о внуках поподробнее, чтоб разговор у них получился взаимно интересный, но мужик, закуривая папироску, вдруг как-то подозрительно примолк, а потом и вовсе засокрушался:

– Оно бы все ничего, да вот с домом беда.

– А что такое? – приготовился с участием выслушать его беду Николай Петрович, отодвигая свой разговор на потом.

– Дак что! – поглубже затянулся папироской мужик. – С первой еще дочери пошла у меня затея —, садить в честь новорожденной возле дома березу. С годами они выросли и вот нынче разламывают, рвут дом корнями на части. Дома-то у нас в Каменке, небось слышал, из камня-песковика. По степи в каменоломнях его добываем да по речным берегам.

– Слышал, а как же, – поддержал разговор Николай Петрович. – У нас тоже многие из ваших камней дома кладут. У меня, правда, бревенчатый.

– Вот и мне бы бревенчатый возвести, – засокрушался еще сильнее мужик. – Бревенчатый не развалился бы. А теперь ума не приложу, что делать. И берез жалко, и дом спасти надо...

– Беда прямо, – принял маету мужика близко к сердцу Николай Петрович. – Может, в «лисицы» дом взять, в стяжки?

– Пробовал уже, – быстро откликнулся мужик на его подсказку. – Не держат. Против природы никакое железо не устоит.

Николай Петрович замолчал, не зная, что бы еще посоветовать мужику, допустившему такую непредвиденную оплошность, чем подсобить его горю, и от этого своего бессилия чувствовал перед ним немалую вину. Но мужик, кажется, и не ждал от него особого совета, перепробовав, ко-

нечно, с домом все крестьянские хитрости. Он достал новую папироску, прикурил ее от прежней и вдруг объявил Николаю Петровичу свое, может быть, окончательно созревшее именно в эти минуты за разговором решение:

– Соберу на родины всех девок, зятьев, и будем определяться. Пилить надо, чего уж там. В чистом поле жить не будешь, а строиться заново не за что.

Николай Петрович почувствовал себя еще более виноватым перед мужиком: он человек старый, много чего в своей жизни видевший, мог бы и на этот случай найти дельную подсказку, обнадежить мужика. Но ничего путного в голову не приходило. С таким удивительным происшествием он встречался впервые: и дом мужику сохранить надо, и березы пилить опасно. Ведь не абы как они посажены, а каждая к великой радости, к дню рождения дочери. Спилишь ее, так еще неизвестно, что с этой дочерью потом станет, – тут уж приметы есть самые нехорошие.

– А в честь сына садить будешь? – стараясь как можно скорее отдалиться от этих невеселых мыслей, спросил мужика Николай Петрович.

– Так посадил уже, – обрадовал его своей стойкостью тот. – Чуть подальше, правда, за оградой, но посадил. Возле дома ей уже и места нет.

Минут пять-десять они ехали в сокровенном каком-то молчании, словно испытывая в чем и проверяя друг друга. Мужик негромко похлопывал вожжами, курил, а Николай

Петрович с пристрастием наблюдал за стригунком, как тот резвится на непривычно твердом асфальте, то забегая далеко вперед, то, наоборот, отставая от подводы и опасно теряясь где-то в тумане. Конь из него действительно получится боевой, могучий, тут уж мужику повезло. Такого коня хоть под седло, в строй, хоть в борозду, всюду он себя покажет. Новорожденный мальчонка, сын мужика, когда подрастет, будет в неразлучной дружбе с этим своим длинноногим ровесником: и верхом на нем выучится ездить, и за плугом в борозде ходить. Дети лошадей любят.

Николай Петрович так увлекся своими мыслями-рассуждениями, что о сидящем рядом мужике почти напрочь забыл, наверное, немало обижая его этим своим забвением. И мужик вдруг напомнил о себе, но как чудно и непривычно.

– Ты песен не поешь? – отбрасывая в сторону папироску, с надеждой в голосе спросил он.

– Нет, не пою, – не оправдывая надежд мужика, вздрогнул даже от неожиданности Николай Петрович.

– А я любитель, – чуть расстроился ответом Николая Петровича тот. – Правда, по большей части кручинные.

– Отчего ж так? – боясь вспугнуть песенное настроение мужика, полюбопытствовал Николай Петрович.

– А Бог его знает, – пожал плечами тот. – Душе не прикажешь.

Он совсем вольно попустил вожжи, качнулся из стороны в сторону и, тоже напрочь забывая о Николае Петровиче,

казалось, не столько запел, сколько выдохнул из себя первые слова действительно печальной, кручинной песни:

Ах, не одна-то, не одна,

Эх! во поле дороженька, эх, одна пролежала!

Голос его был удивительно высоким и сильным. Глядя на этого щупленького, неприметного на вид мужичка, нельзя даже было и подумать, что в нем мог таиться голос такой необыкновенной красоты и силы. Он сразу заполонил вокруг все пространство, отодвинул далеко в поля, за дорогу и холмы туман, вобрал в себя все окрестные, только что начавшие рождаться вместе с рождением нового дня звуки: и щебет-воркование птиц, и журчание весеннего ручья, и порывы влажного верхового ветра. Все замерло перед этим голосом и перед этой песней, словно стараясь постичь заведомо непостижимую их тайну.

Замер и Николай Петрович, крепко обхватив ладонями грядущку. Глаз на мужика он не поднимал, как будто боялся, что никакой плоти рядом с собой не увидит, а только один голос, который есть и плоть, и душа, и сердце человеческое...

Так они и ехали до самого города. Мужик все пел и пел, переменяя песню за песней, которых знал несметное количество, а Николай Петрович неотрывно слушал их, все больше дивясь щупленькому кручинному мужику. Телега поскрипывала, покачивалась, но этот скрип ничуть не мешал песне, а, наоборот, как-то невидимо вплетался в нее, отчего пес-

ня получалась еще кручинней и горше. Слушая ее, Николай Петрович, казалось бы, опять должен был думать о чем-нибудь невеселом, печальном, о войне, о разлуке-расставании, а он, напротив, вспомнил, может быть, самое радостное в своей жизни событие. Победу, а затем встречу и знакомство с Марьей Николаевной, тогда, понятно, еще просто Машей.

Из госпиталя, где Николай излечивался от четвертого по счету и самого тяжелого своего ранения – в грудь, его отпустили подчистую домой на Покров, когда уже ощутимо слышалось дыхание первой послевоенной зимы. В худой шинельке, с тощим вещмешком за плечами и свидетельством инвалида Отечественной войны второй группы он кое-как добрался до районного своего города. И тут встал перед ним самый трудный за все время возвратной с войны дороги вопрос – как одолеть последние двадцать пять километров. Пройти их пешком он никак не мог, сил дока на такое путешествие у него не хватало, в поезде, лежа на койке, Николай и то все время задыхался, слабел, покрываясь болезненным жарким потом, – а тут целых двадцать пять верст по проселочной, размытой осенними дождями дороге. Он опечалился, затосковал, понапрасну ища вокруг вокзала какой-либо конной оказии, хотя бы до Красного Поля. Оно и действительно, кто при таком бездорожье и непогоде поедет в город: и телегу вконец разломаешь, и коня угробишь. Совсем отчаявшись, Николай так, на всякий случай решил заглянуть на почту, что располагалась по ту сторону железнодорожной

линии. И тут ему повезло. Еще при подходе к почтовому зданию он увидел подводу и сразу определил, что она из Малых Волошек. Да и как можно было ошибиться, не признать старого конька переполесой какой-то коровьей масти по кличке Мухомор, на котором еще и до войны возили в Малые Волошки два раза в неделю письма и газеты. Николай надеялся, что сейчас он обнаружит где-нибудь рядом и возницу, бесменную их отважную почтарку бабку Надю, наезжавшую в город за почтой в любую погоду. Но вместо нее из здания, кутаясь в брезентовый, явно не по росту плащ, выбежала вдруг худенькая черноволосая девчушка лет семнадцати-восемнадцати. Николай ее не признал и поначалу даже было засомневался, а действительно ли из Малых Волошек подвода. Переполесый такой конек Мухомор мог быть и в любой иной деревне, тем более после многочисленных конных мобилизаций на фронт, когда по колхозам оставались только какие-либо увечные, непригодные для военной тягловой службы лошади. Но на всякий случай он все же подошел к девчушке и попытал удачи:

– Ты не из Малых Волошек?

– Из Малых, – внимательно, глаза в глаза, посмотрела та на Николая.

– Так, может, подвезешь, а то я искалеченный, сам не дойду.

– Садись! – легко согласилась она и, отвязав веревочные вожжи, первой вспрыгнула на телегу.

Кое-как примостился и Николай, положив рядом с ее почтарской сумкой тощий свой рюкзачок. Разделенные этой не больно надежной преградой, они перебрались через переезд и встали в наезженную вдоль заборов и оград колею. Мухомор за долгие годы почтовой службы колею эту изучил до последней выбоинки и кочки, и его можно было пускать по ней без всякого понукания и опеки, но девчушка время от времени все же приободряла Мухомора вожжами, когда он норовил сорвать на обочине какую-либо до конца еще не засохшую к зиме былинку. И так же время от времени она поглядывала на Николая, притихшего на грядущке за сумкою и рюкзаком. Он не выдержал этих ее поглядываний и затронул разговором:

– А где же баба Надя?

– Нет больше бабы Нади, – совсем не по-девчоночьи вздохнув, ответила девчушка. – Застудилась в дороге и померла. Теперь я за нее.

Николай встретил это известие с немалой печалью: сколько он помнил, баба Надя возила в Малые Волошки почту; к ней все привыкли, сроднились, в каждой семье она была своим человеком, неграмотным старикам и старухам всегда читала письма, как могла, утешала их, если новости в этих письмах были не очень веселыми. Представить Малые Волошки без бабы Нади было трудно. Но вот же война подобрала, одолела и ее. Так и то сказать: сколько похоронных писем пришлось ей на захудалом своем коньке Мухоморе привезти

в деревню, сколько выслушать слез и стонаний. Тут без всякой простуды и болезни ни одно сердце не выдержит.

– А ты чья же будешь? – кое-как смирившись с мыслью, что бабы Нади уже нет и никогда не будет, спросил ее сменщицу Николай. – Я что-то никак не угадаю.

Девчушка не стала скрытничать, как того можно было ожидать от нее в разговоре с молодым, пусть и увечным, парнем, сразу назвалась. Николай тут же признал деревенскую их породу, хотя без подсказки действительно ни за что бы не догадался, чья она. Перед войной этой девчушке было лет тринадцать-четырнадцать, никакого юношеского интереса она в нем не вызывала. Он тогда на девчонок постарше заглядывался. А теперь, вишь, выросла, окрепла – и невеста невестой. Вот старшего ее брата, Егора, Николай помнил и даже дружил с ним малость, несмотря на разницу в возрасте. Егор был года на два-три постарше, что в молодости много значит. В армию на срочную службу он ушел еще до войны, прислал Николаю из танковой школы несколько писем, которые всегда чуть торжественно вручала ему баба Надя. Но когда война началась, они с Егором потеряли друг друга. О его судьбе Николай и спросил притихшую Машу:

– Егор жив?

– Нет, погиб, – еще минуту помолчав, ровно и спокойно ответила та, наверное, уже не первый раз выслушивая этот вопрос. – И отец наш тоже погиб.

– А он что, воевал? – словно отстраняя от себя на время

известие о смерти Егора, переспросил Николай.

– Воевал. Когда Красная Армия отступала, его призвали в обоз. Да так он в войсках и остался. Погиб раньше Егора.

Чем утешить Машу, Николай сразу не нашелся. Сидел, нахохлясь, от нее поодаль, безотчетно сжимал и сжимал ослабевшей ладонью шершавую грядущку, как будто хотел передать ей всю накопившуюся за годы войны тоску и печаль. Наконец нашелся. Правда, опять, как оказалось, невпопад:

– А вернулось наших с фронта много?

Маша прикрикнула на Мухомора, в очередной раз вознамерившегося склониться над былинкой, а потом ответила с прежним спокойствием и твердостью, неожиданной для ее девчоночьего возраста:

– Тебя вот девятого везу, да шесть человек добрались своим ходом.

– Не густо, – вздохнул Николай и нахохлился еще больше.

Малые Волошки село хоть и небольшое, но до войны молодежи, ровесников и ровесниц Николая, в нем подросло много. На фронт вместе с ним в самые первые призывные дни ушло человек под сто, да потом после оккупации подобрали совсем мальчишек, двадцать четвертого, двадцать пятого годов, тоже немало, да заодно и их отцов, таких, как Машин, которым было уже под пятьдесят. А вернулось, вишь, только пятнадцать человек. Правда, может, кого из этих уцелевших мальчишек оставили на срочную службу, срок для которой у них только теперь и подошел. Всех ведь сразу не

демобилизуешь, армию не оголишь.

– Да я и сама только недавно вернулась, – нарушила вдруг невеселые мысли Николая Маша.

– Воевала, что ли? – не больно удивился он ее признанию, вспомнив свою спасительницу Соню. Подобные тихони как раз и рвались на фронт, в самый огонь и пекло, посчитав постыдным отсиживаться дома под опекой отца-матери. Хотя по возрасту Маша для фронта вроде бы заметно молода.

– Нет, не воевала, – словно догадалась она о его рассуждениях. – Немцы в Германию угнали. Наших, волошинских, там много было.

Николай опять не нашелся, что ей сказать на это. В утешении она не нуждается, не тот, судя по всему, характер, расспрашивать же о ее жизни тоже не к месту: в Восточной Пруссии насмотрелся он на этих репатриантов вдосталь, наслушался их слез и горестных рассказов, так что нынче, когда война и все страдания, от нее произошедшие, уже позади, чего попусту рвать Маше душу. Вот покаяться перед ней всем солдатам, бойцам Красной Армии надо бы. Ведь как ни раскинь, а это, в общем-то, по их вине такие, как Маша, девчушки оказались в неволе у немцев, оторванные от дома и донельзя униженные. Плохо, значит, защитники их, красноармейцы, воевали, коль допустили сестреноч своих и невест до такого позора.

Собравшись с силами, Николай, скорее всего, сломил бы непомерную свою гордыню вчерашнего бойца-победителя и

сказал бы Маше честные покаянные слова, но в это время начал накрапывать дождь, по-осеннему холодный, стылый, иногда даже пополам со снегом. Маша, в очередной раз взглянув на вконец озябшего своего попутчика, прервала на полуслове его покаяние и позвала к себе:

– Иди, прикроюсь плащом, а то я не довезу тебя – околеешь.

Николай попробовал было сопротивляться, мол, ничего, он привычный, ему и под шинелькой укромно, но Маша уже снимала брезентовый свой дождевик, чтоб прикрыться им вдвоем на манер плащ-палатки, и даже прикрикнула:

– Ладно, хватит тебе ломаться! Иди!

И Николай больше не посмел ей противиться, послушно подчинился, находя в этом добровольном подчинении какую-то особую, необъяснимую отраду. Маша, принимая его в укрытие, под плащ, кажется, о многом догадалась, но отнеслась к Николаю совсем не по-девчоночьи, озорно и насмешливо, а по-женски и по-матерински, с жалостью и сочувствием, увидев, какой он все-таки хворый и немощный. Потом, правда, когда они под плащом немного согрелись совместным дыханием, она заметно отошла, потеряла материнскую строгость и, уже признавая в Николае полноценного мужчину, оборонителя и защитника, стала рассказывать ему то обо всяких новостях в Малых Волошках, то вдруг все-таки вспоминала недавнюю свою жизнь в Германии. Мало-помалу они выяснили, что были там неподалеку, почти

рядом друг с другом, и это совсем уж их сблизило и сроднило. А когда они на подъезде к Красному Полю сообщают еще и пообедали не больно богатыми своими припасами, которые нашлись в узелке у Маши и в рюкзаке у Николая, то родство их еще больше окрепло.

Ну а потом, уже дома, в Малых Волошках, встретившись раз-другой как бы по старому знакомству в клубе, постояв несколько вечеров у Машиной калитки, они во взаимном согласии порешили, что нарушать это родство и в дальнейшем им никак нельзя...

Пожились они с Машей весной сорок шестого года, как раз в такие вот апрельские дни, а через год родился у них Володька, крепенький и какой-то с самых первых укушений счастливый мальчишка, словно уже тогда понимавший, что он долгожданный ребенок счастливых родителей, переживших окаянную войну и уцелевших на ней...

Пока Николай Петрович ворошил в памяти давнюю ту поездку с Машей, вспоминал свое возвращение с войны, уже показались городские окраины. Мужик, казалось бы, должен был умолкнуть, песни все прекратить, чтоб не беспокоить ими изнеженных, полусонных еще горожан, заняться подвоями, поманить к себе жеребенка, который опять где-то отстал, но он беспечно не обращал на это никакого внимания, опять затянул кручинную болевую песню, навеяв Николаю Петровичу новые воспоминания о Марье Николаевне:

Ах, да не вечерняя заря спотухала, заря спотухала,

Ах, спотухалась заря.

Ах, да полуночная звезда высоко ли, звезда, высоко ли,

Ах, высоко ли звезда вошла?

Встревоженные горожане действительно то там, то здесь выглядывали в окошки, выходили даже на улицу, но песню не прерывали, в осуждение мужику не обронили ни единого слова, а наоборот, слушали его со всем вниманием, сразу по достоинству оценив и томящую сердце песню, и редкостный по силе и красоте голос проезжего этого мужика.

Николаю Петровичу тоже прерывать песню не хотелось, и он проехал на подводе до самого переезда, хотя ему давно надо было бы спешиться и пойти к вокзалу...

Расстались они с мужиком лишь возле железнодорожно-го шлагбаума, который оказался на время закрытым в ожидании приближающегося к станции поезда. Николай Петрович, опираясь на посошок, помалу спустился на землю и начал благодарить мужика вначале за подвоз, а потом и за песню. Тот засмутился, достал папироску, долго разминал ее заскорюзлыми, темными от неустанной работы пальцами, долго прикуривал от неподатливой спички, но вот наконец-то поднял на Николая Петровича взгляд и совсем по-детски вздохнул, словно винясь перед ним:

– Находит иногда.

И столько в этом его признании было кручины пополам с тихой необъяснимой радостью, что Николай Петрович осек-

ся в своем благодарении и тоже вздохнул, невольно примеря слова мужика к себе:

– Да уж, находит...

... На вокзале Николай Петрович попусту времени решил не терять, сразу подошел к кассе, где, почитай, народу и не было (так, кружило человека два-три в ожидании какого-то известия), и склонился к узенькому продолговатому окошку, за которым виднелось обличье строгой среднего возраста женщины. Николай Петрович поначалу маленько заробел, забоялся ее, думал, сейчас ответит грубо и отказно, найдя просьбу деревенского старика докучливой и праздной. Но Николай Петрович счастливо обманулся в своих ожиданиях: женщина только на вид оказалась строгой, а в разговоре обнаружила самое сердечное участие. Когда Николай Петрович попытал у нее билет до Киева, она всю строгость с лица согнала и ответила ему совсем по-домашнему, с пониманием его тревоги и опасности в дальней дороге:

– Это тебе, дедок, вначале до Курска надо, а там пересадка.

– Ну, до Курска, так до Курска, – немедленно согласился Николай Петрович, все еще боясь, что кассирша вдруг обнаружит в его словах какое-либо неудобство для себя и опять построжает.

Но он и тут ошибся. Женщина пошире раскрыла окошко, выдвинула из него навстречу Николаю Петровичу ящичек с закругленным внутри дном и очень даже обходительно по-

требовала:

– Паспорт давай.

Николай Петрович достал из нагрудного, зашпиленного булавкою кармана все документы, которые у него всегда были для сохранности и единства схвачены резинкою, выудил оттуда паспорт, аккуратно положил его в ящичек и протолкнул сквозь окошко прямо в руки кассирше. Остальные документы Николай Петрович пока попридержал у себя, опять-таки опасаясь, как бы не вышло хуже: по давнему своему, теперь, правда, почти забытому опыту он хорошо знал, что кассирши и вообще все ответственные люди самовольства не любят. Но через минуту, еще раз исподтишка глянув на подобрешнее лицо кассирши, он осмелел и показал ей сквозь стекло пенсионное свое удостоверение и удостоверение участника и инвалида войны:

– По этим бумагам мне какого-либо послабления не будет?

Кассирша ни о чем его расспрашивать не стала, а тут же вернула ящичек обратно, и Николай Петрович, по-хорошему дивясь забавной этой железнодорожной выдумке, пристроил туда все свои сокровища. Кассирша, отложив в сторону паспорт, принялась внимательно изучать их, перелистывать страничку за страничкой. Николай Петрович насторожился и посетовал сам на себя, что вот же дома проявил самовольство и не послушался Марьи Николаевны, которая советовала ему разведать у знающих людей все о поездах и льготах

для таких стариков, как он. Теперь ведь все переменчиво, непрочно, сегодня одно, завтра другое. Но он, куда там, заартачился, мол, чего людей попусту беспокоить, да и где ты этих знающих людей сейчас в деревне найдешь?! На вокзале у кассиров и дежурных все доподлинно и расспросит, уж лучше их, без ошибок и сомнений, ему никто не объяснит. А Марья Николаевна в своих предостережениях как в воду глядела. Кассирша оттуда, из Зазеркалья, вдруг прокричала Николаю Петровичу:

– А талон где?

– Какой талон? – еще пуще разволновался тот.

– На бесплатный проезд, – терпеливо стала объяснять ему кассирша. – Участникам и инвалидам войны полагается талон, по которому бесплатно можешь ехать раз в году куда вздумается.

– Ах ты, Господи! – ударил себя от обиды посошком по голенищу Николай Петрович. – Кабы знать?! А кто же его выдает, этот талон?

– Так в собесе и выдают, – подсказала кассирша. – Время еще раннее, ты сходи, а я билет для тебя попридержу.

Николай Петрович, опять ругая себя в душе за нерасторопность и непослушание Марье Николаевне, которая все эти злоключения ему и предсказывала, торопливо захлестнул документы резинкою и стал в благодарении просить кассиршу:

– Ты уж сделай милость, билет мне, старику, посохрани.

– Да не волнуйся ты, иди, – улыбнулась она стариковскому его лепету. – Никуда твой билет не денется.

Николай Петрович спрятал документы в карман, долго и неумело закалывал его булавкою дрожащими от волнения пальцами. Кассирша сочувственно наблюдала за ним из окошка, но когда Николай Петрович кое-как с булавкою справился, опять озадачила:

– Оно бы неплохо вклейку в паспорт сделать, а то на границе могут придраться – теперь время такое...

– А что за вклейка? – встревожился Николай Петрович.

– Ну, вроде удостоверения такого, что ты гражданин России.

– А каким же я еще могу быть гражданином? – до конца не понял ее сомнений Николай Петрович.

– Да может, чечен какой, – опять улыбнулась кассирша, похоже, и сама не очень-то одобряя всю затею с вклейками. – Но на границе нынче строго, особенно с украинской стороны. Так что загляни на всякий случай в паспортный стол.

– Ладно, загляну! – не на шутку рассердился Николай Петрович на неведомых ему выдумщиков, бюрократов, которых хлебом не корми, дай только поизгаляться над простым человеком, чтоб всюду ему были преграды и неудобства.

Поправив на плечах скособочившийся за время стояния возле кассы мешок, Николай Петрович пошел на выход совсем раздосадованный и хмурый. Еще и в поезд не сел, а,

вишь, какие злключения и страсти: талона подорожного нет, вклейки в паспорте, что он свой, русский человек, что здесь, в России, в Малых Волошках, родился и здесь помереть намерен, тоже нет. Но деваться Николаю Петровичу было некуда, и он, потихоньку смиряя свой гнев, стал подниматься по перекинутому через железнодорожные линии мосту, чтоб идти с прошением в собес и паспортный стол.

Дорога в райсобес Николаю Петровичу была хорошо памятна еще с первых послевоенных лет, когда его туда вызывали, почитай, ежегодно на переосвидетельствование. Шумные тогда были там сборы покалеченных войной инвалидов. Всю площадь запруживали безногие, безрукие, слепые; кто приходил помаленьку сам, а кто в сопровождении матерей, жен или начавших уже подрастать детишек. Зрелище было невеселое, разговоры – тоже. Но со временем все кое-как сгладилось: самые увечные и немощные, со страшными ранениями померли, другие, кто поздоровей, помалу приспособились к жизни и, махнув рукой на копеечное инвалидское пособие, в собесе не появлялись, третьих, уже достигших пенсионного возраста, оставил в покое сам собес. Николай Петрович, правда, ходил туда исправно. Во-первых, не хотелось ему огорчать собесовских работников, людей, поди, тоже занятых, ответственных, а во-вторых, ходить веле-ла Марья Николаевна – мол, при твоих ранениях и здоровье лишний раз провериться у врачей не помешает. В последний раз Николай Петрович наведывался в собес лет десять

тому назад, еще при советской власти, а после уже не было ни потребности, ни вызовов. В разрухе и неразберихе десяти этих переворотных лет все как-то притерпелось, оборвалось... Райсобес, по-нынешнему отдел социальной защиты населения, оказался на прежнем месте, в невысоком одноэтажном зданьице сразу за больницей. Было оно каким-то обшарпанным, сиротским, с давно не крашенной крышей, с покосившимся крылечком. Всем своим неухоженным видом зданьице показывало, что само нуждается в защите и поддержке. Правда, обнаружилось в нем и одно новшество: по всем окнам зданьице было на тюремный манер забрано железными частыми решетками. Тоже, должно быть, в целях защиты. В прежние годы тут, помнится, водились совсем иные порядки: здание и снаружи, и внутри содержалось в должном, почти домашнем обиходе, по крайней мере, и бревенчатые, ошелеванные «под елочку» стены, и крыша всегда вовремя обновлялись голубой масляной краской и суриком. Вместо решеток радовали глаз старинные резные ставни, теперь куда-то подевавшиеся. От них была не только одна защита, но еще и красота немалая. Теперь же, похоже, красота не в особом почете: сварили решетки из арматуры – и вся недолга. Заходить в такое здание особой охоты не было: туда зайдешь, а назад, того и гляди, не выберешься, захлопнется за спиной тоже обрешеченная дверь, и будешь сидеть как в мышеловке.

Николай Петрович подступился к зданию действительно

с опаской и осторожностью, ожидая от его строгих обитателей-начальников какого-либо подвоха. Вдруг по старой привычке пошлют на переосвидетельствование, или велят приходить завтра, или объявят, что в связи с начинающимся ремонтом выдача подорожных талонов временно прекращена. Собесовский народец, устав от докучливых посетителей-жалобщиков, всегда на такие выдумки был горазд...

Но, к удивлению Николая Петровича, все обошлось более-менее терпимо. У дежурившей возле входной двери женщины он доподлинно разузнал, куда, в какой кабинет ему стучаться со своей просьбой. Народу около этого кабинета толпилось немного, всего человек пять-шесть, в основном женщины-старушки. Николай Петрович занял очередь и утомленно присел на освободившийся стул. Возле остальных кабинетов по длинному темноватому коридору люду обреталось побольше, но тоже в основном женщины старого пенсионного возраста. Своих ровесников, фронтовиков, Николай Петрович почти не обнаружил. Мелькнуло в тени всего несколько человек с орденскими обтерханнами планками и медалькой участника Великой Отечественной войны на груди – и все сообщество. Не то что прежде, когда тут в глазах рябило от орденов и медалей, от разноцветных нашивок за ранения.

Вскоре, правда, приглядевшись повнимательней, Николай Петрович заметил в глубине коридора возле одного из кабинетов и мужчин, но не своих ровесников, а гораздо по-

моложе, хотя тоже увечных: на костылях, на протезах, в инвалидских колясках, а двоих так и в темных, прикрывающих слепоту очках, с палочками-поводырями в руках. Это были уже солдаты и инвалиды других, никем не ожидаемых войн – афганской, чеченской, приднестровской и прочих, – дети и внуки Николая Петровича. Небось, тоже вызвали их на переосвидетельствование.

Николаю Петровичу захотелось подойти к этим изувеченным на «малых», как теперь принято говорить по телевизору и радио, войнах, побеседовать с ними без утайки, по душам, словно со своими ровесниками, посетовать на обманчивую жизнь. Ведь скажи кто-либо Николаю Петровичу и его однополчанам в фронтовые их годы, что война, на которой они гибнут и калечатся, не последняя, они бы ни за что не поверили и крепко обозлились. Им тогда неоспоримо казалось, что вот отвоюются они, победят немца – и все, наступит вечный, незабываемый мир. Ан нет, пророчества их не сбылись! Не успели они кое-как отойти от войны, как опять по всему миру запылали новая погибель: то в Корее, то во Вьетнаме, то на Ближнем Востоке, среди мусульман и евреев, то в проклятом этом Афганистане, а теперь и совсем уже дома, в Чечне и Дагестане. И всюду кладут свои головы молодые, мало еще чего видевшие в жизни ребяташки.

Николай Петрович поднялся со скамейки и, готовясь к разговору с увечными молчаливыми солдатами, сделал было два-три шага в глубь коридора, но тут обозначилась его

очередь, и он повернул назад. Вначале надо совершить дело, за которым пришел, получить подорожный талон, а потом уже можно будет, не поспешая, побеседовать с пораненными солдатами, утешить их по силе возможности стариковским обходительным словом.

В кабинет Николай Петрович зашел с еще большей робостью, чем приближался к зданию райсобеса. От подобных кабинетов и в прежние, послевоенные годы, когда порядка в жизни было побольше, ничего хорошего ожидать не приходилось, а теперь и подавно. Все ведь вокруг расстроилось, расшаталось, доверия и участия человеку нет никакого.

Но Николай Петрович ошибся. Девчушка, сидевшая за столом, обвальюно загроможденным всякими бумагами, обошла с ним как раз с участием и пониманием.

– О, дедуля, – без всякой начальственной строгости вмиг вошла она в положение Николая Петровича. – Это мы поправим.

Накоротке разглядев документы Николая Петровича, она достала из вороха бумаг розоватого цвета талон, сделала в нем необходимые пометки и с должным уважением, как ее, наверное, научали старшие, вручила посетителю:

– Здесь тебе на три года, езжай в любые края.

– Эти три года еще прожить надо, – благодаря девчушку, как-то совсем по-домашнему засомневался в ее предсказаниях Николай Петрович.

Выйдя из кабинета, он решил все-таки побеседовать с

солдатами-инвалидами, отвести утомленную душу во взаимных, понятных любому воевавшему человеку разговорах. Но еще раз, теперь уже совсем вблизи посмотрев на увечных мальчишек, он вдруг словно натолкнулся на какое препятствие и замер на месте. Ну что он, старик, скажет им, чем утешит?! Воспоминаниями о той, давно минувшей войне, о которой они знают только по кино и книжкам, о героических подвигах на ней его ровесников-однополчан?! Так им и своих подвигов хватает: вон они проступают, просвечиваются костылями, инвалидными колясками, палочками-поводырями у слепых! А коль так, то, может, лучше не беречь им ран, пройти мимо в молчании и сочувствии.

Николай Петрович так и сделал: повернул направо и, осторожно опираясь посошком о мягкий, покрытый линолеумом пол, стал пробираться по коридору в фойе, где сидела дежурная.

И все-таки вступить в разговор с одним из раненых солдат ему привелось. Когда Николай Петрович, поблагодарив дежурную за подсказку и помощь в поисках нужного кабинета, вышел на крылечко, то едва не споткнулся о него. Безногий, похожий, скорее, на обрубок дерева, чем на человека, солдат сидел возле самой двери и просил милостыню. На вид ему было лет тридцать пять, а то и все сорок, но, может быть, солдата так старила пятнистая маскировочная форма, которую нынче зовут непонятным для Николая Петровича словом – камуфляж. На полу перед солдатом лежал голубо-

го цвета берет, в котором сиротливо поблескивало несколько монет. В первые мгновения Николай Петрович от неожиданности отшатнулся назад, в дверь: давненько, считай, с самого послевоенного времени, не доводилось видеть ему подобного зрелища. В деревенском лесном захолустье, где молодежи призывного, солдатского возраста почти нет, Николай Петрович по большей части вспоминал лишь свою, сороковых годов войну, донельзя жестокую гибельным немецким нашествием, а нынешние, мелкие, случайные войны порой казались ему не столь уж и страшными. Ну что-то вроде финской кампании или скоротечных боев на Халхин-Голе и возле озера Хасан, о которых теперь уже редко кто вспоминает. Но все это, конечно, обман и заблуждение: нестрашных войн не бывает. Все они оставляют за собой таких вот изуродованных молодых ребят, и вся лишь разница в том, что тогда, в сороковые годы, перед безногими и безрукими, перед слепыми солдатами лежали пилотки и фуражки с пластмассовыми козырьками, а теперь – береты...

Чувствуя, как судорожно и виновато дрожат у него руки, Николай Петрович порылся в кармане, выудил оттуда горсть серебряных монет и, высыпая их в берет, произнес дрогнувшим и, опять-таки, каким-то виноватым голосом:

– Чем могу, сынок!

– Спасибо, отец, – твердо и с немалым достоинством ответил солдат, но во взгляде его голубых, под стать берету, глаз Николай Петрович прочитал тоску и отчаяние, кото-

рые он когда-то читал и в глазах израненных своих ровесников-фронтовиков.

Разницы тут тоже было мало, вот разве что, бросая в расprostертую на земле пилотку рубль-другой, Николай Петрович тогда говорил: «Чем могу, браток!» А в остальном все точно так же...

После этой встречи и этого тоскливого солдатского взгляда шаг у Николая Петровича стал совсем шатким, нетвердым, хотя и нога вроде бы не болела, и в простреленной груди не было опасного хрипа и клокотания, за которым непременно последует приступ. Чаще обычного поддерживая себя посошком, Николай Петрович искал в душе примирения и покоя, но они все не находились и не находились: взгляд безногого, постаревшего раньше времени солдата все стоял и стоял у него перед глазами. Утешение Николай Петрович нашел лишь в том, что дал себе, может быть, самый первостепенный наказ: слезно и горестно помолиться в Киево-Печерской лавре и за этого перерубленного войной пополам солдата-десантника, и за его товарищей, слепых и увечных, толпящихся возле райсобесовского кабинета. Конечно, молитвой своей, какой бы она ни была крепкой, здоровья, рук, ног или зрения он им не вернет, но все-таки помолиться надо. Пусть малая, а будет им от той молитвы отрада. Бог их в одиночестве и страдании не покинет.

... В паспортном столе удачи Николаю Петровичу не выпало. День там оказался выходным, неприятным. Но он не

очень огорчился этому обстоятельству, решив, что какие бы там ни были теперь строгости на границе, а все же должны иметь люди разум, должны же они понимать самые обыкновенные обстоятельства: коль родился Николай Петрович в России, в Малых Волошках, и живет там по сей день, о чем в паспорте доподлинно помечено, то, стало быть, он есть без всякой клейки гражданин России и никакого иного государства.

Поддержала в Николае Петровиче эту надежду и железнодорожная кассирша. Принимая от него по второму разу документы и талон, она, уже как старого знакомого, успокоила его:

– Не переживай, дед, все обойдется. Главное – талон добыл.

– Да я особо и не переживаю, – тоже совсем по-свойски ответил ей Николай Петрович. – Куда они денутся – пропустят, не разбойник же я какой-нибудь.

Кассирша лишь улыбнулась такому его суждению и принялась колдовать над талоном, отрезая от него самую малую, этого года частичку. Потом она разложила перед собой чистые бланки и, поближе склоняясь к окошку, спросила Николая Петровича:

– Тебе какое место давать? Купейное или плацкартное?

– Только не купейное, – заволновался Николай Петрович. – Это как в мышеловке будешь ехать. Мне бы где попросторней и по отдельности, чтоб людей не беспокоить, я

ведь тревожно сплю.

– Чудной ты, дед, – осудила его за этот отказ кассирша. – Бесплатно едешь, можно бы и в купе, с форсом. – Но потом смирилась с его просьбой: – Ладно, езжай в плацкартном.

– Во-во, – обрадовался Николай Петрович, – плацкарта как раз по мне.

Он вдруг вспомнил, что в последние разы, когда ездил гостевать к Володьке и Нине, ему тоже доставались места именно в плацкартном вагоне, нижние, боковые, и он ими был очень доволен. Действительно, как бы чуть в отдельности, в стороне: ночью можно подняться, никого не обременя старческим своим кряхтением и вздохами, а днем, приладив раскладной столик, посидеть в свое удовольствие возле окошка, опять-таки никому не доставляя неудобства.

Выписав билет, кассирша еще раз наставительно и строго пояснила Николаю Петровичу:

– Доедешь до Курска, а там перекомпостируешь на киевский. Но гляди, не напутай чего!

– Что уж я, совсем такой беспамятный? – завладевая билетом, малость даже обиделся на нее Николай Петрович.

– Ну, внимательный, невнимательный, – немного смягчилась кассирша, – а нынче время такое – в оба надо смотреть, а то завезут в какую-либо тьмутаракань...

Николаю Петровичу впору было обидеться на нее и по сильнее, но он сдержал себя и, пропуская к окошечку очередного пассажира, покорно отошел в сторону. Кассирше так

положено: наставить каждого проезжего, растолковать ему все железнодорожные хитрости, чтоб после не было путаницы и нареканий.

До прихода поезда у Николая Петровича еще обнаружился почти добрый час времени, и он провел его с надлежащей пользой. Облюбовав себе местечко на широкой фанерной лавке в полупустом зале ожидания, Николай Петрович достал узелок с провизией и надежно перекусил, чтоб в шатком вагоне, в темноте и сумерках, не возиться с рюкзаком и не тревожить людей, которые уже будут спать.

Северный, идущий из самого Ленинграда-Петербурга поезд появился точно к назначенному сроку, не заставив Николая Петровича попусту волноваться и переживать. Свой вагон под номером три он отыскал легко, без чьей-либо подсказки, удачно заняв исходное место как раз под пешеходным мостом, где вагон и остановился. Проводник, молодой обходительный парень, уважил просьбу Николая Петровича и определил ему нижнюю боковую плацкарту в глубине вагона. Расположение Николаю Петровичу очень понравилось: в обособленной своей боковушке он находился пока один; верхняя полка пустовала и даже была прижата блестящими защелками к окошку. Место напротив него за откидным столиком тоже оказалось никем не занятым, так что Николай Петрович мог распоряжаться боковушкой по своему усмотрению. Попутные пассажиры обнаружили только в просторном четырехместном купе через проход, но и там

одна верхняя полка пустовала. На другой же, должно быть, уже спал, отвернувшись к стенке, какой-то грузный мужчина в спортивном костюме. Бодрствовали только нижние пассажиры, средних лет мужчина и женщина, и бодрствовали, кажись, в свое удовольствие: столик перед ними был густо заставлен бутылками и всякой покупной магазинной закуской, колбасой, консервами, пирожками.

Николай Петрович, снимая рюкзак и фуражку, поздоровался с веселыми этими, едущими, судя по всему, издали попутчиками. Те тотчас же стали приглашать его к себе за столик:

– Давай, папаня, по рюмке!

– Нет, спасибо, – уважительно отказался Николай Петрович. – Мне уже не по здоровью.

– Водка всегда по здоровью! – прокуренно и хрипло захохотал мужчина, выдавая тем самым, что он крепко уже в подпитии.

– Пей, старый, не трусь! – принялась уговаривать Николай Петровича и женщина, тоже заметно хмельная и от этого неловкая в движениях. – Угощаем!

Но Николай Петрович устоял и перед женщиной. Пить, да еще на ночь глядя, у него действительно никакой охоты и резону не было: того и ожидай, ночью прихватит сердце, а то и подоспеет грудной приступ. В дороге с этим рисковать нельзя, Марья Николаевна такую вот бесполезную выпивку Николая Петровича ни за что бы не одобрила. Он еще раз по-

благодарил попутчиков за приглашение и, сняв в жарко нагретом вагоне телогрейку, мирно присел возле окошка.

Попутчики больше не настаивали, самостоятельно выпили по рюмке и занялись прерванными разговорами, довольно громко перемежая их зычными, бытующими среди мужиков словами. И что особо заметил Николай Петрович, чаще всего словца эти произносила женщина.

Делать ей замечание он не решился: с подвыпившими людьми лучше не связываться, перевоспитать их не перевоспитаешь, а скандал непременно выйдет. Николаю же Петровичу под хороший его нынешний настрой и замысел никакого скандала не хотелось. Он отвернулся к окошку, стал смотреть на уже подернутые надвигающимися сумерками поля и придорожные лесозащитные полосы. Изредка, правда, когда мужчина и женщина чрезмерно повышали голоса, он бросал на них встревоженный взгляд, опасаясь, как бы между ними не получилось размолвки, в которую они вовлекут и Николая Петровича. Но мужчина и женщина пока разговаривали хоть и громко, но вполне вроде бы мирно. Из этих разговоров Николай Петрович вскоре понял, что едут они действительно издалека, откуда-то из-под Мурманска. Мужчина сидел там в тюрьме, и немало, целых восемь лет, а женщина была на заработках, не то на рыбной путине, не то на лесоповале. Через два-три перегона Николай Петрович доподлинно уже знал, за что мужчина сидел столь долгий срок. Оказалось, что за дело самое страшное и нечеловеческое – за убийство.

И не кого-нибудь, а собственной, молодой тогда еще жены.

Николай Петрович лишь вздохнул, услышав этот рассказ, расстелил матрац и лег на полку. Сон потихоньку стал подступаться к нему, вначале овладел телом, а через минуту-другую и истомленной душой, заставляя ее отрешиться от всего виденного и пережитого за сегодняшний день. Дыхание Николая Петровича выровнялось, стало по-младенчески тихим и успокоенным, каким бывало и вправду лишь в далеком детстве, когда он засыпал под присмотром матери, легко забывая все дневные детские злоключения. Николаю Петровичу не мешало спать ни мерное постукивание колес, ни покачивание и поскрипывание износившегося вагона, ни налетавшие иногда вихрь и гудение встречного поезда, извещавшего пассажиров о том, что за окошком, в пустоте и темени, все-таки есть живая стремительная жизнь. Николай Петрович слышал ее даже сквозь сон и радовался, что отчаяние его и недовольство постепенно проходят. Он невидимо осенил себя крестным знамением и хотел уже было совсем в покое и душевной чистоте предаться глубокому сну, но вдруг увидел, что весь вагон озарился тем волшебным серебряным светом, который явился ему вначале дома, в горнице, а потом во время покаянного сна в стожке соломы, – и в этом озарении, как и в прошлые разы, начал проявляться облик и образ седого старика с посохом.

– Святой отец, – не зная, как по-иному обращаться к седому старику, потянулся было к нему Николай Петрович, чтоб

спросить о самом важном и необходимом для себя (вопрос этот Николаю Петровичу уже открылся, был ясен и понятен), но вагон вдруг резче обычного качнулся на стрелке или на каком повороте, потом на него налетел необычной силы и гудения вихрь несущегося навстречу поезда – волшебный свет мгновенно погас, и так же мгновенно не стало старика, как будто его унес с собою этот встречный неудержимый вихревой поток.

Николай Петрович испуганно проснулся, оглядел сумрачный, затененный вагон, ища старика, но потом понял, что недоступное и неосязаемое видение было опять во сне, затомился, заперезживал душой и теперь уже наяву осенил себя крестным успокоительным знаменем. На душе действительно стало легче и просторней, но томление и тоска по упущенному свиданию со стариком никак не проходили. И особенно Николаю Петровичу было жаль, что напрочь забылся и не всплывал в памяти вопрос, который он хотел задать старику и который так ясно открылся ему во сне. Николай Петрович еще раз и еще осенил себя крестным знаменем, старательным и прилежным, как и подобает истинному паломнику, направляющему стопы к святым местам, и вскоре утешился, отрешился от гордыни и стал думать о своих наконец угомонившихся попутчиках, мужчине-убивце и его любовнице, вербованной девке, за которых ему тоже надо будет помолиться в Киево-Печерской лавре, куда они сами пока вряд ли доберутся.

Поезд пришел в Курск с первыми рассветными лучами. Николай Петрович наскоро распрощался с сумрачным и молчаливым после бессонной ночи проводником, хотел было попрощаться и с попутчиками, но они беспробудно спали, и не каждый на своей полке, а совместно на нижней, кое-как прикрывшись стареньким железнодорожным одеялом. Николай Петрович опять тяжело вздохнул этому зрелищу и вышел из вагона. Ни минуты не задерживаясь на перроне, он сразу направился к билетным кассам, чтоб доподлинно разузнать насчет киевского поезда. В ранние, полусонные еще часы народу возле касс толпилось совсем немного. Николай Петрович обрадовался этому и занял очередь.

Но радость его оказалась преждевременной. Когда он подал в окошечко льготный свой билет и попросил кассиршу перекомпостировать его на киевский поезд, та без всякого обидного умысла огорчила его:

– Рано ты заявился, дедок!

– Чего ж так? – не совсем понял ее Николай Петрович.

– А того, что киевский теперь ходит всего два раза в неделю. Жди до следующей ночи.

– Вот те раз! – только и нашел что ответить Николай Петрович и поспешно отошел от кассы, чтоб не мешать другим пассажирам.

На неожиданное такое обстоятельство он никак не рассчитывал. Сколько помнил Николай Петрович, киевский поезд через Курск ходил всегда ежедневно. Но, видно, времена переменялись, и желающих ездить в Киев поубавилось. Так и то сказать – Киев, Украина теперь сторона далекая, почти посторонняя, по всяким рабочим, командировочным делам туда ездить незачем, а для родственников, живущих по обе стороны границы, да для таких стариков-паломников, как Николай Петрович, хватит и двух поездов в неделю. Надо привыкать к этим новым обстоятельствам, прилаживаться к ним, а то жизнь тебя на старости лет совсем переломает и сведет в могилу раньше положенного срока.

Местечко для отдыха Николай Петрович нашел себе возле вентиляционного колодца, причудливо построенного посреди вестибюля. Он им остался очень доволен: во-первых, было здесь не так душно и томительно, как, наверное, в тесных, закупоренных залах ожидания; а во-вторых, гораздо веселей и увлекательней: коротая бесполезное время, можно было наблюдать в свое удовольствие, что за народ снует туда-сюда сквозь высоченную полуангарную дверь. Николай Петрович поначалу и прилачился к этому наблюдению. С должным вниманием встречал и провожал каждого пассажира, пытаюсь по его виду и облику определить, что за человек перед ним, какая у него сложилась и складывается жизнь и куда это он вдруг надумал ехать. Но потом Николай Петрович все-таки отвлекся от увлекательного своего наблюдения и, словно

по чьей-то подсказке, перекинул взгляд на вокзальное почтовое отделение, уютившееся в уголке неподалеку от двери. Народу там, почитай, не было никакого: стояли возле письменного стола-тумбы всего два-три человека, но и те, похоже, без всякого почтового намерения. А у Николая Петровича такое намерение вдруг возникло, вдруг он подумал, что неплохо было бы написать сейчас Марье Николаевне письмецо, а еще лучше бы отбить телеграмму, в которой сообщить, мол, так и так, все у него в дороге пока складывается хорошо и удачно.

Желание Николая Петровича было столь велико, что он, немедленно оставив свое место, подошел к почтовому отделению и стал изучать там всякие инструкции и наставления, дабы чего не напутать перед отправлением письма или телеграммы. Но пока изучал предписание за предписанием, пока разглядывал цветные бланки для поздравительных телеграмм, неожиданно для себя остыл и подумал о своем намерении совсем по-другому. Пока письмо с известными при нынешней жизни проволочками дойдет в Малые Волошки к Марье Николаевне, он сам уже будет дома и расскажет обо всем устно. В письмах же Николай Петрович не большой мастер: Володьке и Нине их всегда пишет Марья Николаевна, потому что он обязательно чего-нибудь напутает или сочинит так заковыристо, что и сам толком не поймет, о чем хочет сообщить.

С телеграммой получалось и того хуже. Во-первых, в ней

много не напишешь, каждое слово немалых, наверное, стоит денег, а во-вторых, вдруг передадут ее Марье Николаевне среди ночи да еще с искажениями, ошибками (все эти телеграфы-телефоны дело ненадежное), и она до смерти испугается, подумает, что с Николаем Петровичем случилось в дороге что-либо неладное, ведь договора у них насчет личных писем и телеграмм никакого не было.

Передумав писать в Малые Волошки письмо или давать телеграмму, Николай Петрович решил вернуться назад на свое место, но оно уже оказалось занятым какой-то бабулькой с полосатой, доверху набитой всяким скарбом сумкой. Теснить ее Николай Петрович не посмел да вдруг и передумал сидеть возле вентиляционного колодца, где запросто можно простыть на сквозняке, а Марья Николаевна, отправляя его в путешествие, как раз и предупреждала насчет сквозняков – они для Николая Петровича губельны, особенно для простреленной, хлипко дышащей груди. В пешей дороге Николай Петрович хорошо об этом помнил, старался укрыться от проточного сквозного ветра, а вот в поезде и здесь, на вокзале, все предостережения Марьи Николаевны легко подзабыл, уселся на самом опасном, продуваемом снизу и с боков месте.

Потоптавшись еще немного возле почтового отделения, правда, уже совсем равнодушно, без прежнего интереса и любопытства, Николай Петрович зариться на освободившееся рядом с бабулькой сиденье не стал, а вышел вслед за дру-

гими пассажирами на привокзальную площадь.

Она была еще пустынной, необжитой после ночи. Лишь возле самого подножья вокзала у высокого крыльца кучилось несколько легковых автомобилей-такси. Один из водителей, завидев Николая Петровича, откинул было дверцу и крикнул:

– Куда едем, отец?!

– В Киев! – решил подшутить над ним Николай Петрович.

– Можно и в Киев, – ничуть не удивился такому заказу водитель, но дверцу захлопнул.

А Николай Петрович тем временем высмотрел себе в стороне под деревьями, что огибали полукольцом всю площадь, кем-то забытый тарный ящик. Это было местечко как раз для него. Под деревьями, на свежем воздухе, но охраняемое от железной дороги и всяких продувных сквозняков высокими домами. Николай Петрович, не рискуя идти через площадь, где в любой момент могла появиться, налететь какая-либо поспешная машина, пробрался к нему окольным путем, по тротуару.

Для верности оглядев ящик со всех сторон, Николай Петрович легко догадался, что он занесен сюда, в укромное местечко под деревья, специально. Сверху ящик был аккуратно застелен картонкой и газетой, приспособленный сразу как бы под сиденье и под трапезный стол. Николай Петрович похвалил рачительных хозяев ящика-стола и тоже решил за ним потрапезничать, перекусить запасами Марьи Николаев-

ны, потому как утреннее, привычное для завтрака время как раз подоспело.

Сняв рюкзак, Николай Петрович разложил льняную свою скатерть-самобранку на газетке и принялся не торопясь, по-домашнему нарезать на ней сало и хлеб. Все ему тут нравилось: и хорошо ухоженные, обрезанные к весне липы-деревья с уже проклюнувшимися листочками, и чисто подметенный тротуар, по которому с легким воркованием расхаживали голуби-сизари, и такой же сизый, до конца еще не растаявший под лучами солнца туман над площадью. Николай Петрович залюбовался всей этой городской, раньше непонятной ему и недоступной красотой и даже на время забыл об утренней своей трапезе, сидел себе да и сидел на ящике в отдохновении и покое.

И досиделся! Не успел он поднести первый ломтик ко рту, как вдруг появились хозяева ящика. Из-за деревьев и кустов желтой акации вынырнули два удивительно похожих друг на друга мужика: оба с коричнево-задубелыми лицами в ссадинах и подтеках, оба в поношенных и во многих местах порванных пальто и оба донельзя прокуренных и пропитых. Вначале Николай Петрович подумал было, что они в довольно пожилом уже, старом даже возрасте, но приглядевшись повнимательней, определил настоящие их годы. Каждому из них было всего лишь под пятьдесят, не больше. Старили же мужиков какие-то потухшие, глубоко запрятанные на отечных, одутловатых лицах глаза да неухоженные, давно

не знавшие ни гребенки, ни ножниц бородки. Подобных мужиков Николай Петрович видел в подвале возле туалетной комнаты, но не обратил на них особого внимания, думал – нищие да и нищие, на вокзалах их всегда обреталось много. Нынче же, обнаружив горемычных этих, донельзя опустившихся сотоварищей в двух шагах от трапезного своего, облюбленного места, он сообразил, что они хоть и вправду нищие, но совсем не такие, какие встречались когда-то после войны и в городах, и в селах. Те были нищими по несчастью, по военному лихолетью, а эти – Бог знает по какой причине. Да и называют их теперь, кажется, не нищими, не сиротами и погорельцами, а каким-то странным, нерусским словом – бомжи. Николай Петрович не раз об этом слышал по телевизору и радио, удивлялся, откуда могли появиться такие люди и такое им прозвание в России. Но нынче, увидев добровольных страдальцев впервые, он согласился, что они и есть самые доподлинные бомжи, другого, русского слова тут и не придумаешь, потому как занятие у них тоже не русское – при здоровье и молодых еще годах жить не трудом и даже не подаянием, а цыганским каким-то попрошайничеством.

– Не поделишься хлебом-солью, отец? – действительно попросили они его униженно и жалобно.

– Отчего ж не поделиться, – не смог устоять перед их жадными, изголодавшимися взглядами Николай Петрович, хотя особого желания сидеть с ними в одном застолье у него и не было.

Бомжи сразу воодушевились, посветлели даже как будто лицами, но тайную настороженность Николая Петровича заметили и, обретая какую-никакую человечность, принялись успокаивать его:

– Ты не подумай чего такого, мы свою долю внесем. Бу-тылочкой вот с утра разжились, а с закуской пока не вышло.

– Я и не думаю, – тоже вполне по-человечески ответил Николай Петрович. – Присаживайтесь.

Один из бомжей, по виду более молодой, но и более за-скорузлый, обтерханный, тут же метнулся в кусты акации и притащил оттуда еще пару тарных ящиков. Другой тем вре-менем вытащил из кармана бутылку водки и стопочку пласт-массовых стаканчиков.

– Ты примешь с нами? – спросил он Николая Петровича, проворно располагая все это богатство рядом с закуской.

Николай Петрович подумал-подумал и согласился, забыв предостережения Марьи Николаевны в дороге водку не пить, потому как мало чего от нее может приключиться у него с сердцем и головой:

– Приму, чего уж там!

Ему вдруг захотелось разузнать, что же за люди эти бом-жи, как докатились до такого существования, где теперь жи-вут-обретаются, о чем думают и мыслят. Не выпить тут нель-зя: по-трезвому разговора у Николая Петровича с ними не получится – больно уж они какие-то потерянные, сорные лю-ди. Хотя, может быть, и не так, может, просто несчастные и

самые заблудшие из всех заблудших.

Бомжам стоворчивость Николая Петровича, судя по всему, понравилась. Они совсем по-дружески, как старые знакомые, сгрудились вокруг него на принесенных ящиках, и владелец бутылки припухшей и мелко вздрагивающей, должно быть с похмелья, рукой принялся разливать водку. Себе и своему сотоварищу он плеснул в пластмассовые стаканчики, а Николаю Петровичу – в алюминиевую кружку, которую тот еще в начале своей трапезы вынул из мешка, надеясь после добыть где-либо воды, а то, может, и чаю.

– Ну, за здоровье, что ли! – с трудом поднял с газетки стаканчик верховодивший бомж.

Другого тоста у них не нашлось (Николай Петрович тоже сразу не сообразил, за что еще можно пить в подобном застолье), и они, кое-как сойдясь над ящиком стаканчиками и кружкой, с натугой выпили.

От похмельной утренней водки бомжи сразу размякли, повеселели: задубелые их, коричневые лица покрылись румянцем, правда, каким-то болезненным, излишне ярким, а в глазах мелькнули, затеплились вполне даже живые огоньки.

– И давно скитаетесь? – раздул эти огоньки Николай Петрович.

– Так шестой год уже, – с охотой и с залихватской похвальбой ответили бомжи, к удивлению Николая Петровича, без особой жадности приступая к закуске.

– И что ж оно, так вольней? – любопытствовал дальше

Николай Петрович.

– Ну, вольней не вольней, – принялся разливать по второму разу верховодивший бомж, – а сами себе хозяева. Вот разжились бутылкой – выпили, не разжились – и так сойдет.

– А домой, к женам-детям не тянет? – еще сильнее дохнул на разгорающийся огонек Николай Петрович. – Все ж таки в тепле, в обиходе.

– Какой там обиход, – не дожидаясь нового тоста, на одном дыхании выпил водку бомж помоложе, – приду когда домой пьяный, так она затолкает меня в чулан, оберет всего до копейки да еще и милицию вызовет. А я, между прочим, слесарь шестого разряда, по пять сотен ей при коммунистах приносил.

– Чего же сейчас не приносишь? – построжал Николай Петрович, не очень-то понимая объяснения бомжа.

– Завод закрыли, работы нет, я и ударился в бега.

– А жена с детьми как?! Побоку?!

Бомж посмотрел на Николая Петровича долгим, затяжным взглядом, но ничего не ответил, а лишь по-вороньи нахохлился: глаза у него сразу помертвели, огонек в них потух, подернулся бурым торфяным пеплом. Николай Петрович почувствовал, что в строгости своей малость перебрал, что в первую очередь, наверное, надо было со всеми подробностями войти в положение потерянного этого человека, выказать ему сочувствие, а потом уже и держать с него спрос. А так получается одна только обида, хотя, похоже, к подобным

обидам бомж за годы скитаний порядком привык, смирился с тем, что каждый встречный-поперечный относится к нему с грубостью и небрежением, как будто он вовсе уже и не человек, а лишь бездомное, лишившееся своего пристанища животное.

Николай Петрович вознамерился было повиниться перед бомжем за нанесенную обиду, но не знал, как это лучше сделать: народ они обездоленный, недоверчивый, любое неосторожное слово их ранит, саднит, так что тут, наверное, тоже лучше всего помолчать – глядишь, оно как-нибудь и сгладится все само собой.

И оно действительно вскорости сгладилось. Бутылка быстро опорожнилась, как-никак пили втроем, хотя Николай Петрович особо и не усердствовал, помня наказ Марьи Николаевны и то обстоятельство, что бомжи изначально на его участие в застолье не рассчитывали – при их тренировке тут и на двоих пить нечего. Когда же последние капли были разлиты, бомжи аккуратно, словно какую-то редкую драгоценность, спрятали бутылку в полиэтиленовый пакет, мину-ту-другую потолкались еще возле ящиков, а потом вдруг напористо, без прежней унижительной тоски в голосе попросили Николая Петровича:

– Может, угостишь еще чуток? А то недобор получается.

Отказать им в этой просьбе Николай Петрович никак не мог. Бомжи выставили первую, починную, бутылку, не поспешили, а теперь вроде как его очередь. В любом застолье

так заведено: тебя угостили – ты угости вдвое, на дармовщину не зарься.

– Отчего ж не угостить, – чувствуя себя должником, ответил Николай Петрович.

Он расстегнул вначале телогрейку, потом пиджак и, особо не таясь новых своих товарищей, достал из бокового кармана пакетик с документами и деньгами. Отсчитав пятьдесят рублей, Николай Петрович с задором и даже с каким-то вызовом (мол, знай наших!) протянул их бомжам:

– Хватит?

– За глаза! – загорелись те новым огнем и желанием.

Младший из бомжей, подхватив деньги, на удивление споро и проворно побежал куда-то к вокзалу, а старший уже совсем по-хозяйски взялся хлопотать вокруг стола, подровнял на газетке кусочки хлеба и сала, составил впритык стаканчики и кружку, чтоб удобней и без потери времени было разливать в них водку, когда появится гонец. Чувствовалось, что в прежней, человеческой жизни он в этом понимал толк. Николай Петрович исподтишка наблюдал, прикидывал и так и этак, кем же мог быть новый его неожиданный знакомец до своего скитальчества: рабочим? крестьянином? или каким-либо служащим? – но ни одно из этих званий к нему не подходило. Глядя на его заскорузлые, припухшие руки, на заросшее свалявшейся бородкой лицо, можно было подумать, что никакого звания и профессии у него никогда не было и что он от самого рождения скиталец и бомж. Несколько

раз Николая Петровича подмывало вступить с ним в разговор, но он вовремя останавливался, вспоминая, чем закончилась его беседа с бомжем, убежавшим сейчас за бутылкой. Рассказывать о своей прежней жизни они, судя по всему, не любят, как будто стыдятся не нынешнего своего состояния, а именно той, доскитальческой жизни, когда у них были и дома, и семьи, и работа. Одно только Николай Петрович знал твердо – крестьянами бомжи раньше быть никак не могли. Земля прокормит, оденет и обует любого-всякого, если только, конечно, не сидеть на ней сложа руки да не надеяться, что кто-то за тебя вспашет ее и засеет. К тому же в деревне у каждого свой родительский дом, свое хозяйство, а не казенная каменная квартира, где одни только полудохлые коты да неизвестно зачем удерживаемые собаки. Уйти из крестьянского дома, бросить его на произвол судьбы совсем не то, что городскую бесприютную квартиру. Конечно, от тюрьмы и от сумы никто не зарекайся, ни крестьянин, ни рабочий, ни, к примеру, инженер или врач, но крестьянин если и пойдет по миру с протянутой рукой, то пойдет нищим и будет добывать себе пропитание крестом и молитвой, а никак не попрошайничеством, как бессчетно расплодившиеся сейчас повсюду эти бомжи.

Гонец тем временем уже вернулся, Бог знает где раздобыв в такую рань бутылку водки и полбуханки хлеба. От прежнего его уныния не осталось и следа: глаза весело блестели, лицо сияло, и в эти минуты, наверное, не было на свете бо-

лее счастливого человека.

Застолье у них пошло совсем накатиисто, с разгоном и праздником, как будто они все трое были знакомы друг с другом сто лет и сто лет так вот выпивали в дружбе и согласии, сойдясь поутру в уединенном местечке. Николай Петрович, приложившись к кружке еще чуток и еще, легко поддался на расспросы бомжей, кто он да что он, да куда едет, куда путь держит. Он таиться не стал, рассказал им всю подлинную правду и даже пригласил с собой в попутчики:

– А что, ребята, может, со мной в Киев?

– Зачем? – вначале не поняли его те.

– Ну как же! – загорелся Николай Петрович. – В Лавру сходим, помолимся. Чай, тоже православные.

– Оно конечно, православные, – подтвердили бомжи, но ехать с Николаем Петровичем в Киев отказались: – Ты уж сам как-нибудь, а мы здесь, по России.

– Чего ж так? – малость даже обиделся на них Николай Петрович.

Бомжи выпили еще по рюмке и все доходчиво Николаю Петровичу объяснили:

– Там своих ребят хватает, нам не прокормиться. А потом – документов у нас не имеется, на границе задержат.

– Без документов худо, – согласился с ними Николай Петрович. – Милиция, небось, преследует?

– Случается, но редко, – заступились за милицию бомжи. – Мы ведь не нахальничаем, переспим где в подвале или

в подъезде – и на волю. Милиция нами даже довольна, от чеченцев, бандитов всяких дома охраняем.

Беседа текла у них мирно, во взаимном доверии и понимании. Николай Петрович больше с наставительными своими, строгими речами к бомжам не приставал: нравится им так жить – пусть живут, лишь бы другим людям от них вреда не было. А бомжи в свою очередь, по мере того, как бутылка опорожнялась, все добрели и добрели к Николаю Петровичу душой, признавали его старшинство в застолье, дивились нешуточному его намерению ехать в Киево-Печерскую лавру, чтоб помолиться там за всех заблудших и страждущих.

День уже совсем разгорелся, вошел в силу, привокзальная площадь наполнилась шумом машин и людским гомоном, а они, словно три товарища-брата, сидели в своем укромном местечке и радовались жизни.

Но вот мало-помалу и во второй бутылке водки осталось на самом доньшке – подошло время пить посошок. Они и выпили его совсем уже в полном согласии. Бомжи растревожились почти до слез, благодарили Николая Петровича за щедрость, опять дивились его желанию ехать на богомолье вон в какую даль, в сам Киев, и даже скорбно попросили:

– Ты уж там и за нас словечко замолвь.

– Это непременно, – пообещал Николай Петрович, позволяя своим застольникам прихватить с собой вместе с пустой бутылкой и недоеденную закуску: хлеб, сало, пару луковичек.

Бомжи с редким прилежанием завернули все в газетку, спрятали в пакет, потом помогли Николаю Петровичу забросить за спину мешок, застегнуть пиджак и телогрейку и наконец начали прощаться, в знак особой душевной благодарности прикладывая к груди руки. Николай Петрович тоже поклонился им и в чистоте душевной подумал, что, может, и не совсем они еще пропащие люди, что вот помолится он за них в Киеве – и бросят они свое скитальчество, бомжевание, вернуться к женам и детям и заживут человеческой оседлой жизнью.

На том они, наверное, и расстались бы, но Николай Петрович вдруг с удивлением подумал, что за все утро они все трое толком так и не познакомились, не разузнали друг у друга имен. Бомжи называли его отцом, а он их в общем-то никак, не было в том необходимости. Но теперь она появилась. Ведь там, в Киеве, перед святыми иконами и мощами негоже молиться за людей безымянных, как будто и не живущих. Николай Петрович укорил себя за такое нерадение и окликнул начавших уже было уходить от него бомжей:

– Ребята, а вас зовут-то как?

Бомжи остановились, с удивлением и настороженностью глянули вначале на Николая Петровича, потом друг на друга, словно увиделись впервые, и недоуменно пожали плечами:

– А тебе зачем?

– Вроде как не по-людски расходиться неизвестными, – огорчился их вопросу Николай Петрович и даже посожалел,

что остановил недавних застольников на полдороге. Пусть бы уходили в добром настроении, Бог милостив, примет молитву и за безымянных.

Но бомжи растерянность свою уже пережили, вернулись назад к Николаю Петровичу и, протягивая ему руки, поочередно назвались:

– Симон!

– Павел!

Николай Петрович, пожимая их тряские и какие-то поженски вялые ладони, тоже обозначил себя, правда, не одним только именем, а и отчеством, как и полагалось ему по возрасту. Но долго свою руку в их ладонях не задержал. Таких ладоней ему давно уже пожимать не приходилось. За долгие годы скитаний бомжи отвыкли от настоящей мужской работы, руки их, болезненно припухшие, теперь были пропитаны лишь водкой и табаком, вся сила и крепость из них навсегда ушла. Николаю Петровичу даже показалось, что они не только одинаково грубые, негнущиеся, но как-то одинаково по-мертвому холодные, хотя после выпитой водки должны были потеплеть, оттаять.

Никакого разговора у них больше не предвиделось. Бомжи отчужденно постояли перед ним еще несколько мгновений, а потом начали поспешно прощаться, не выказывая никакой радости от в общем-то бесполезного знакомства со случайным, по деревенской простоте щедро одарившим их стариком:

– Нам пора. Сейчас московские поезда пойдут, самый за-работок.

– Ну, бывайте! – отпустил их Николай Петрович, только теперь догадавшись, что бомжи до этих минут тоже не знали, как друг друга зовут, поэтому так недоуменно и переглядывались. Сошлись они, скорее всего, лишь сегодня поутру, чтоб выпить совместную дармовую бутылку, а потом вновь разбегутся, ведь при их профессии промышлять лучше по-одиночке. Подаяния артелью не выпросишь.

Опершись на посошок, Николай Петрович стоял на краю тротуара и сочувственно смотрел, как бомжи с трудом пересекают привокзальную площадь, часто сбиваются с шага, клонят к земле крупные седеющие головы, сутулят плечи, как будто им тяжело нести и хранить в себе эти по нечаянности доставшиеся им апостольские страдальческие имена – Симон и Павел.

Он проводил их взглядом до самого вокзала, до боковой подвальной двери, за которой бомжи немного воровато, с оглядкой, исчезли, почему-то побоявшись подниматься по высоким ступенькам центрального крыльца.

Николай Петрович вслед им лишь сокрушенно покачал головой, постоял еще немного на тротуаре под деревом, щедро согретым и обласканным весенним солнцем, и, быстро теряя нестойкий стариковский хмель, вернулся назад к вокзальным кассам. Больше отвлекаться ни на какие посторонние дела он не стал, а с должным вниманием принялся вы-

спрашивать попутчиков. Пока обнаружилась только одна какая-то тетка, ехавшая, правда, не до Киева, а до ближнего украинского города – Ворожбы. Тетка оказалась сговорчивой, уважительной и по доброте своей уступила Николаю Петровичу возле кассы первое место, разумно рассудив, что блюсти очередь серьезней и надежней мужчине. Николай Петрович поблагодарил ее за такую уступчивость и, добровольно приняв на себя обязанности старшего в очереди, безотходно стоял у кассы часа два, пока не подоспело еще несколько пассажиров. Они тоже охотно признали старшинство и главенство здесь Николая Петровича, отметились в очереди и согласились, подменяя его, постоять необходимое время на карауле. Пассажиры по виду люди были свои, деревенские, ну в крайнем случае поселковые или районные, никакого подозрения они у Николая Петровича не вызвали, он полностью доверился им и отпросился ненадолго отлучиться, чтоб размять совсем отекавшие от долгого стояния ноги.

Он вышел на привокзальную площадь, теперь по-дневному шумную, запруженную множеством машин. Был у Николая Петровича великий соблазн побыть тут в созерцании подольше, а может, даже и пройтись до города или хотя бы до мосточка через реку Тускарь. Но он подобной роскоши себе не позволил, забоялся, что, пока будет бродить, очередь запросто перестроится, организуется заново, и он опять окажется в самом ее конце без всякой надежды на билет.

Николай Петрович так забоялся подобного оборота дела,

что немедленно развернулся и, захватывая посошком на асфальте как можно больше пространства, устремился назад к вокзалу. И поспел как раз вовремя: очередь действительно разбрелась, расстроилась, мужики облюбовали себе место в зале ожидания, тетка, ехавшая до Ворожбы, и та отдалилась от кассы и сидела теперь на торговой сумке возле газетного киоска. В общем, был полный беспорядок и разорение. Николай Петрович решил не медля ни минуты восстановить порядок. Он снял заплечный своей мешок, уселся на него рядом с окошечком и, ни на кого больше не надеясь, самолично следил-наблюдал за очередью, которая то вдруг опять сходилась у касс, то бесследно исчезала, таилась по залам ожидания и буфетам.

Так, почти безотходно, настороже, просидел Николай Петрович возле окошечка до самой ночи. Отлучался он на совсем коротенькое время, минуты на две-три, всего несколько раз: ходил в подвал в умывальную комнату да однажды выглянул на площадь, чтоб купить в передвижном ларьке буханку хлеба. От утреннего застолья сала у него еще немного осталось, а вот хлеб бродячие Симон и Павел подобрали с собой весь.

Здесь же, возле касс, Николай Петрович и пообедал, не рискуя больше идти под деревья на ящики, где опять обнаружатся какие-либо странники и увлекут его, слабовольного, на новую выпивку и разгул.

Зато как был вознагражден Николай Петрович за свое

терпеливое сидение возле касс в первом часу ночи, когда вдруг прошел слух, что билеты начнут вот-вот давать, и очередь, быстро разобравшись по номерам и порядкам, выстроилась гуськом вдоль стены. Николай Петрович оказался в той очереди самым первым.

Минут пять кассирша окошечко еще не открывала, томила очередь последним, совсем уж невыносимым ожиданием. Но вот наконец-то неприступную свою бойницу распахнула и подала команду:

– Кто на киевский?!

– Я! – по-солдатски четко, с готовностью и надеждой отозвался Николай Петрович.

Кассирша молча постучала рукой по подоконнику, на котором стоял похожий на обыкновенную плоскую лоточек, требуя документы и деньги.

Николай Петрович так же молча понял ее, не стал даже объяснять, что билет у него имеется еще с прежнего поезда и его надо только перекомпостировать на киевский, а проворно нырнул рукою к нагрудному карману, где этот билет и лежал вместе с паспортом, пенсионным и инвалидским удостоверениями. И вдруг Николай Петрович замер и похолодел душой – целлофанового, аккуратно перехваченного резинкою пакетика на месте не было. Вначале он этого не признал, не поверил – нырнул в карман поглубже, но и в самой глубине ничего не обнаружилось. Тогда Николай Петрович переметнулся в другой карман, решив, что, должно быть, утром,

выдавая деньги на подарочную бутылку Симону и Павлу, он второпях засунул целлофановый пакет не в левый нагрудный карман, а в правый. Но и в правом ничего не было. Покрываясь холодным ознобным потом, Николай Петрович заголошно заметался по остальным карманам и в пиджаке, и в брюках, и даже в телогрейке. Но там он обнаружил лишь носовой платочек да тощий, похожий на лягушку кошелек, которым его снабдила в дорогу Марья Николаевна, дабы он не вскрывал каждый раз для мелких, необходимых в пути расходов целлофановый пакет, а брал рубль-другой из кошелька-лягушки.

– Ну, что там?! – нетерпеливо крикнула кассирша и еще раз, уже с негодованием, постучала по подоконнику.

– Да сейчас я, сейчас, – попробовал ее успокоить Николай Петрович, ныряя то в один, то в другой карман и даже в прорез байковой выходной рубахи, думая, что пакетик как-либо обронился туда.

А очередь уже шумела, волновалась:

– Ты что там, дед, копаешься?!

Больше всех налегали, подталкивали Николая Петровича деревенские мужики, кажись, уже заметно подвыпившие. Теснясь всем скопом поближе к окошку, они обидно и насмешливо кричали, советовали ему:

– В мотне поищи, в мотне!

Не отставала и тетка. Деньги и паспорт она приготовила заранее и теперь, нахально отталкивая Николая Петровича

от кассы, уже протягивала их в окошечко.

– Да погодь ты, погодь! – с трудом сопротивлялся ей Николай Петрович и все еще не терял надежды, что пакетик с документами и деньгами где-либо да обнаружится.

Но когда тетка все-таки одолела его, едва ли не с головой просунувшись в окошко, он сдался, пристыженно отступил и, совсем уже мертвея сердцем, понял, что целлофанового, так аккуратно и тщательно снаряженного в дорогу Марьей Николаевной пакетика нет и никогда больше не будет.

– Украли, небось! – пьяно хохотнули над его отчаянием мужики.

– Украли, – безропотно согласился с ними Николай Петрович и сделал шаг-другой в сторону, дабы не смущать своим растерянным видом очередь, для которой он уже чужой и посторонний.

Но очередь просто так Николая Петровича не отпустила. Истомившись от скучного многочасового стояния, она вдруг встрепенулась, стала возбужденно обсуждать неожиданное происшествие. Одни в открытую поругивали самого Николая Петровича, мол, не разевай, старый, варежку, смотри в оба – это тебе не деревня; другие советовали идти к дежурному по вокзалу или в милицию; а третьи, тайком и украдкой проверяя свои карманы и загашники, радовались, что обворовали, слава Богу, не их.

Кого тут слушать, чьему совету внимать, Николай Петрович от обиды и растерянности взять в толк не мог и вдруг

воспротивился всем, загорелся новой надеждой. Да нет же, никто его не обворовал, не позарился на несчастные рубли-копейки, и нечего тут возводить на людей напраслину, просто Николай Петрович где-то обронил пакет по неосторожности и нечаянности. И прежде, чем идти в милицию и к дежурному, надо хорошенько обследовать все места, где ему случилось побывать за день, – глядишь, пропажа и обнаружится. Напрочь забыв об очереди, о ее советах и насмешках, Николай Петрович устремился в обход всех этих мест. Вначале он спустился в подвал, в туалетные и умывальные комнаты, обследовал все возле вентиляционного колодца и почтового отделения, запомнявав, что, когда он здесь утром обретался, деньги еще были при нем, сходил и к хлебному ларьку, и под деревья к ящикам, но оброненного пакета нигде не отыскивалось...

Николай Петрович в изнеможении и последней обиде присел под деревом на ящике и теперь уже окончательно согласился с подгородными мужиками: обворовали его, облапошили деревенского простофилю, и он доподлинно знает, где и кто, далеко тут за разгадкой ходить не надо. Да вот же на этих ящиках под деревом-липою странствующие братья-апостолы Симон и Павел и обчистили его. Вернее, один только Павел. Ведь это как раз он, когда они завершили выпивку-трапезу, помогал хмельному Николаю Петровичу застегнуть и пиджак и телогрейку, приторочить за плечи мешок. И так брат Павел все душевно и ладно делал, что Ни-

колай Петрович в знак благодарности и уважения даже приобнял его – и вот чем это объятие закончилось. Симон же был только на стреме, начеку, собирал со стола бутылку и остатки закуски, грешить на него не надо, хотя и не грешить нельзя – заодно они были и, небось, с самого начала сговорились повеселиться за счет Николая Петровича.

В общем, хочешь не хочешь, а путь Николая Петровича лежал теперь в милицию или к дежурному по вокзалу. Даст Бог, чем-либо и помогут. Пораскинув умом, Николай Петрович решил, что уж лучше сразу отправляться в милицию. Дежурный посочувствует, повозмущается, может, что посоветует насчет дальнейшей дороги, но выследить и изловить воров вряд ли сумеет – не в его это силах да и не в его обязанностях. Тут уж надо напрямиком в милицию, каяться за ролеплейство да просить помощи и защиты.

Николай Петрович так и сделал. Правда, обращаться к сержанту-милиционеру, сонно прохаживавшемуся с дубинкою в руках по центральному коридору, он не стал. Обругать его этот сержант за попустительство обругает, к тому же словами много крепче, чем подгородные мужики, а содействия никакого не окажет, ему за порядком надо наблюдать, а не следствием-дознанием заниматься. В лучшем случае проводит он Николая Петровича в отделение к какому-либо начальству повыше и сдаст, словно арестанта. А как все это переживать Николаю Петровичу?! Ведь наблюдая за таким происшествием, любой-каждый пассажир скажет: глядите,

вон поймали старика-вора и теперь ведут на расправу. Нет уж, до такого позора Николай Петрович себя не допустит!

Поэтому он, с опаской уклонившись от встречи с дежурным сержантом, сам добровольно пошел в отделение, которое еще утром приметил, гуляя-прохлаждаясь по вокзалу.

Собравшись с духом, Николай Петрович открыл высоченную дубовую дверь и оказался с глазу на глаз с милицейским майором, который разговаривал в это время с кем-то по телефону.

Николай Петрович по деревенскому обычаю снял в помещении фуражку и застыл у порога. Майор, усатый и строгий, мельком взглянул на него, но никакого знака не подал, а лишь недовольно шевельнул густыми, занимающими поллица усами, и продолжил милицейский свой требовательный разговор. Николай Петрович от этого взгляда и шевеления совсем пал духом и вдруг действительно почувствовал себя не потерпевшим и пострадавшим от татей и разбойников в дороге, а, наоборот, подозреваемым в краже или каком-либо ином преступлении.

– В чем дело?! – наконец положил трубку майор.

– Да вот, гражданин начальник, – уже совсем по-тюремному откликнулся Николай Петрович, – обокрали меня.

Майор опять оглядел его с ног до головы, словно примеряясь, стоит ли вести разговор с этим воровато обманывающим его стариком. Но потом, по-видимому, решил: ладно, можно и поговорить, все равно ведь ночь как-то надо пере-

могать.

– Где и когда? – отрывисто, с нажимом спросил он Николая Петровича.

– Да кто ж его знает, когда, – еще больше потерялся тот. – Утром, должно быть. Я только присел перекусить...

– Один присел? – не дал ему договорить до конца майор.

– В том-то и дело, что не один, – сознался Николай Петрович, – Симон и Павел были со мною.

– Кто такие? – совсем уж угрожающе шевельнул усами майор.

– А Бог их ведает, кто. Странники какие-то. Я с ними только утром и познакомился.

– Бомжи, что ли?

– Наверное, – никак не в силах был обрести смелость Николай Петрович.

– Ну, этих теперь ищи-свищи, – вдруг смягчился и заговорил вроде бы по-доброму майор, должно быть, все-таки поверив признаниям Николая Петровича. – Небось, уже к Москве подъезжают.

Николай Петрович, печалась, во всем согласился с майором: оно ведь и вправду, если Симон с Павлом обокрали его, то никакого резону им сидеть в Курске и дожидаться поимки нет. Сели в первый попавшийся поезд да и едут теперь навеселе, хоть в Москву, хоть в Ленинград, посмеиваясь и похохатывая над нерасторопным и доверчивым Николаем Петровичем.

– Что забрали? – тем временем опять построжал и повел допрос дальше майор.

– Как – что?! – тяжело и виновато, как подлинный преступник, вздохнул Николай Петрович. – Документы и деньги.

– Много?

– Чего – много? – растерялся и спросил невпопад Николай Петрович.

– Денег! – с трудом сдержал на него обиду майор.

Николай Петрович, исправляя свою оплошность, принялся перечислять все украденное по порядку: сперва назвал самый важный и главный документ – паспорт, потом помельче – пенсионное и инвалидское удостоверения, билет и в самом конце упомянул о деньгах. Правда, с деньгами Николай Петрович малость запутался и вначале назвал полную сумму, которую завернула ему в целлофановый пакетик Марья Николаевна, забыв, что доставал оттуда полсотенную на водку Симону и Павлу. Пришлось поправляться и оправдываться, приводя майора в подозрение.

Но в конце концов он Николаю Петровичу и на этот раз поверил, перестал недовольно шевелить буденновскими своими громадными усами и спросил вполне сочувственно:

– Сам куда едешь-то?

Пришлось Николаю Петровичу в который уж раз за дорогу рассказывать, куда, зачем и по какому случаю он направляется. Перед майором он сознался во всем, не скрыл даже

своей тайны про вещей сон и видение, подумав, что, может, это как-то сгодится для дела, окончательно смягчит майора и он немедленно примет соответствующие меры для обнаружения и поимки преступников. Майор действительно в бедственное положение Николая Петровича вошел и, придвинув к себе ручку с бумагой, стал что-то густо писать, время от времени задавая Николаю Петровичу дополнительные вопросы.

Тот опять добросовестно, без самой малой утайки отвечал на них, а сам все думал и думал о Симоне и Павле, все сомневался и сомневался насчет их. Может, напраслину Николай Петрович возводит на честных, хотя и скитающихся людей. Может, все-таки сам где по неосторожности обронил целлофановый пакетик, а Симон с Павлом и в мыслях не держали обижать его и грабить. В конце концов он не выдержал и попросил майора:

– Вы о Симоне и Павле не упоминайте. Вдруг это не они.

– Может, и не они, – его же словами и сомнениями ответил тот, но писать бумагу не бросил.

Николай Петрович примолк, боясь чем-нибудь вспугнуть майора. Он утомленно сидел на стуле, перебирал в руках фуражку да все поглядывал и поглядывал на часы, висевшие над столом, прикидывая, много ли еще осталось времени до прихода поезда, на котором ему теперь, понятно, в Киев не уехать. На душе у Николая Петровича было совсем тускло и теменно: кругом, перед всеми он повинен. И перед Марьей

Николаевной, наказам которой в дороге не следовал, и перед несчастными, понапрасну оговоренными им людьми, Симонем и Павлом, и даже перед этим усатым майором, который вынужден среди ночи выслушивать его старческие обиды и стенания, писать протокольные бумаги. Разгорячась, Николай Петрович хотел было как-либо незаметно ускользнуть отсюда, чтоб избавить майора от бесплодных дознаний, но тот писания свои уже закончил и, удержав Николая Петровича на стуле строгим, неотпустимым взглядом, стал зачитывать их. Николай Петрович слушал внимательно и чутко, но так и не уловил, было там какое упоминание о Симоне и Павле или не было вовсе. Задавать же повторные, докучливые вопросы он забоялся, да майор и не дал ему на это времени. Он вдруг подсунул все бумаги Николаю Петровичу под самый локоть, вручил самопишущую костяную ручку и приказал:

– Подпишись вот здесь, внизу!

Будь у Николая Петровича под рукой очки, он бы бумагу всю доподлинно изучил, и если в ней имеются какие-либо известия о Симоне и Павле, то ни за что бы не подписал, греха на душу не взял бы. Но очки были запрятаны в кармане пиджака, далеко, под телогрейкой, к тому же еще и придавлены ляжкой от заплечного мешка. Извлечь их оттуда не так-то просто, провозишься минут пять, не меньше, а майор, по всему видно, ждать не намерен, опять вон шевелит и дергает усами. Поэтому Николай Петрович наугад черкнул

внизу бумаги подпись, про себя решив, что если у Симона и Павла нет перед ним вины, то Бог уберезет их и никакой майор странников и беглецов не изловит. А если имеется, тогда уж пусть держат ответ, винятся, тогда подписи своей под бумагой Николай Петрович не снимает. Ведь могли бы по-доброму попросить у него десятку-другую на содержание, и разве бы Николай Петрович отказал им. А так сиди теперь и думай, кто перед кем виновен: Симон и Павел перед Николаем Петровичем или, наоборот, он перед ними... Тут теперь один майор и может рассудить их недоразумение.

Николай Петрович с прилежанием вернул ему ручку и бумагу, маленько переждал, пока тот изучал разгонистую его подпись, и не без робости спросил:

– Так как же мне теперь быть?

– Известно как, – с осуждением ответил майор. – На обратный поезд я тебя посажу. Дома и помолишься. Церковь, небось, есть?

– Церковь-то есть, – горестно вздохнул Николай Петрович. – Только нельзя мне домой.

– Почему? – не понял его горести майор.

Пришлось Николаю Петровичу обстоятельно и дословно все объяснять ему:

– Грех мне будет великий, если отступлюсь.

Майор замолчал, долго обдумывал слова Николая Петровича, теребил в руках бумагу, наконец спрятал ее в лежавшую на столе папку и, отпуская Николая Петровича, не

очень внятно и даже как бы с заминкой проговорил:

– Ну, тогда как знаешь. Если что обнаружится, сообщим по месту жительства.

Николай Петрович на майора ничуть не обиделся, а наоборот, обругал себя за глупые, неурочные вопросы: ведь мог бы и самостоятельно сообразить, что майор новые документы ему не выпишет, деньгами на паломничество в Киев не снабдит. Тут таких обворованных простофиль у него ежедневно обретается не по одному десятку.

Николай Петрович поблагодарил майора за участие, за добрые, наставительные слова, попрощался и вышел из дежурной милицейской части все ж таки приободренным. Даст Бог, все как-нибудь обойдется, надо только не малодушничать, не терять веры и ни под каким предлогом не отрекаться от задуманного.

Надев фуражку, Николай Петрович постоял еще немного возле милиции, а потом вдруг начал поспешно пересчитывать в кошельке-лягушке сохранившиеся мелкие деньги и совсем воспрянул душой. Денег насчиталось целых двадцать три рубля и сорок копеек. Николай Петрович, крепко удерживая их в ладони, раз-другой взмахнул посошком и сколько мог споро заспешил назад к кассе. Очереди там уже не было. Народ, пассажиры, обзаведясь билетами, разбрелись, наверное, по вокзалу или караулили поезд, который вот-вот должен был появиться, на перроне. Кассовое окошечко было закрыто, но сама кассирша сидела там неотлучно, слов-

но специально поджидая Николая Петровича. Он стукнул в окошечко посошком, привлек к себе ее внимание и попросил уважительными стариковскими словами:

– Дай мне билет на эти деньги, куда хватит.

Кассирша узнала его, взяла деньги, молча пересчитала их и деликатно, ни единым намеком не напоминая о недавнем происшествии, потребовала, как у обычного, ничем не запятнавшего себя перед ней пассажира:

– Паспорт давайте!

У Николая Петровича опять все опало, порушилось внутри; он заметался, замельтешил возле окошка, обронил даже посошок, а когда поднял его и заново предстал перед кассиршей, то сам же и напомнил ей о своем несчастье:

– Так ведь и паспорт украли, окаянные!

– Без паспорта не могу, – огорчила его кассирша.

– А может, как исхитришься? – попробовал все же уговорить ее Николай Петрович. – Раньше паспорт вроде не требовался.

– Раньше такие старики дома возле бабок сидели, – почему-то рассердилась кассирша и вернула ему деньги. – Мне тоже искать приключений на свою голову неохота.

Николай Петрович гнев и строгую ее обиду принял как должное, спрятал деньги назад в кошелек-лягушку и, отойдя на шаг в сторону, оперся заплечным мешком о блестящие перильца, бегущие вдоль касс. В груди у него послышались опасные хрипы, а потом и вовсе пошли перепады в дыхании,

верные предвестники приступа. Николай Петрович поспешно отыскал в кармане телогрейки металлическую трубочку с таблетками, которая всегда была у него под рукой, вынул оттуда два белых кругляшка и так же поспешно бросил в рот. Через минуту-другую сбои в дыхании вроде бы прекратились, хрипы ушли, а сердце забилося прочнее и уверенней, перестав пугать Николая Петровича болезненными глухими толчками. Он постепенно успокоился, обрел в теле истаявшее было тепло и начал думать, как же ему теперь быть дальше, что предпринять в этом совсем уж нескладном положении. И тут ему на выручку пришла кассирша, сменившая вдруг гнев на милость.

– Дед, а дед?! – позвала она его из окошка.

– Чего? – вначале настороженно отозвался Николай Петрович на ее слова, в которых ему послышалась насмешка.

Но кассирша, как оказалось, насмехаться над ним и не думала. Она вполне серьезно и сочувственно посоветовала Николаю Петровичу:

– Ты иди к поезду да попросись у проводниц, они тебя до Глушкова и довезут.

– А билет? – совсем уж потерял всякий разум и рассудок Николай Петрович.

– О Господи! – возмутилась кассирша. – Дашь им какую десятку, они и без билета посадят. Тут и ехать-то...

Николай Петрович поблагодарил кассиршу за добрый совет и научение, стыдясь, правда, глядеть ей в глаза, потому

как и сам должен был додуматься до такого простого понятия – попроситься у проводниц на поезд, вроде как на попутную машину или подводу. Тут особого ума не надо. Но вот ведь как заклинило с перепугу и растерянности!

А по радио тем временем уже объявляли, что поезд номер двести тридцать первый Воронеж – Киев прибывает на третью платформу. Николай Петрович в последний раз поклонился кассирше, мол, спасибо тебе самое душевное, и побежал искать третью, необходимую ему платформу. Добрые люди подсоветовали, как выйти на нее: оказывается, надо спуститься вниз, в подвал, а потом по подземелью – опять вверх, к поезду. Николай Петрович справился со всеми лабиринтами вполне удачно и через пять минут был на месте. Высадка-посадка шла уже полным ходом, хотя особой нужды у народа торопиться вроде бы и не было: поезд стоял в Курске без малого час. Но кому не охота после бессонной ночи поскорее пробраться на свое место, занять полку да и улечься на ней в полном спокойствии и отдохновении. Прибывшие же пассажиры мечтали о том, чтоб побыстрее очутиться дома, в тепле и уюте, в родственных жарких объятиях.

Хотелось покоя, вагонного настоявшегося тепла и Николаю Петровичу, ведь ему ночь тоже выпала бессонная да еще с какими переживаниями и страхами – едва-едва уклонился от приступа.

Но положение у Николая Петровича было теперь совсем не такое, как у пассажиров, ехавших на полных правах и

основаниях, с билетами и документами, как ехал и он сам прошлой ночью от родного своего города до Курска. Нынче Николай Петрович все свои законные права растерял самым бессовестным и позорным образом и вынужден ехать безбилетным «зайцем», рассчитывая только на милость проводницы. Поэтому и вести себя Николай Петрович вынужден был с крайней осторожностью и оглядкой, по-заячьи.

Перво-наперво он подождал, пока все пассажиры погрузятся в вагоны, согласно купленным билетам, и он сможет повести переговоры с проводниками с глазу на глаз, без посторонних свидетелей. Потом Николай Петрович сообразил, что соваться в вагоны купейные или плацкартные ему никак нельзя: там все места номерные, приметные, там если даже проводник захочет его взять, то нигде не припрячет. Так что надо Николаю Петровичу проситься в попутчики-«зайцы» в вагоны общие, самые дешевые и людные, где легко затеряться хоть на полке, а хоть и под полкой, под сиденьем, как терялись, случалось, безбилетники в поездах в военную и послевоенную пору.

Таясь за будочкой-буфетом, Николай Петрович потомился еще минут пять, пока перрон совсем обезлюдел, и лишь потом пошел вдоль состава искать общий вагон. Никто Николая Петровича вроде бы не преследовал, не окликал, но он все равно шел с оглядкой, крадучись, как будто действительно был каким-нибудь вором-обманщиком. С немалой оглядкой и опасением подошел Николай Петрович и к двери

общего вагона, который обнаружил в самом хвосте поезда. Проводница (молодая ли, пожилая ли – в предутреннем тумане не разглядеть), высадив-посадив пассажиров, уже поднималась по ступенькам в вагон, и Николай Петрович едва успел ее остановить.

– Гражданочка! – позвал он проводницу каким-то стесненным в груди, просительным голосом.

– Чего тебе, старый? – оглянулась на него проводница.

Она оказалась не молодой и не пожилой, а средних женских лет, и это очень обнадежило Николая Петровича. По его наблюдениям, такие женщины самые отзывчивые и чуткие, потому как пребывают все в материнской зрелой поре, в ответственности и тревоге за малых своих детей, за престарелых родителей, а стало быть, и ко всем остальным людям относятся без ожесточения, с полным пониманием и сочувствием.

– Не подсобишь в несчастье? – по-доброму, но все еще со стеснением в голосе, попросил ее Николай Петрович. – Подвези, сколько сможешь.

– Как это – сколько сможешь? – действительно с должным участием отнеслась к нему проводница. – Тебе куда надо-то?

– Вообще-то мне до самого Киева, до Печерской лавры, помолиться еду, – признался ей во всем, как на духу, Николай Петрович. – Да, вишь, какая незадача, какое несчастье приключилось – обворовали меня тати окаянные, всего лишили: и билета, и документов, и дорожного содержания. Те-

перь вот к милости твоей взываю – доведи, куда сможешь.

Проводница наметанным, оценивающим взглядом окинула Николая Петровича с ног до головы, словно соразмеряла его жалобные слова с внешним видом – не бомж ли он какой на самом деле, прикидывающийся странником и богомольцем. На железной дороге таких сейчас великое множество, кем хочешь назовутся, лишь бы в вагон попасть. А чуть попав, сразу начинают попрошайничать, к пассажирам приставать, приворовывать по-мелкому. После намучаешься с ними, пока высадишь на каком-либо полустанке.

Но внешним видом Николай Петрович, слава Богу, на бомжа вроде бы не походил. Все в одежде у него было покрестьянски опрятное: и выходная фуражка, и почти совсем новая еще телогрейка, и опять-таки выходные, праздничные брюки, не говоря уже о хромовых офицерских сапогах, в которых бомжи, понятно, не ходят. Смушал проводницу один только холщовый заплечный мешок, но он тоже был чистеньким, аккуратно (сразу видно, что женской рукой) снаряжен в дорогу. И все же проводница еще колебалась, пристально поглядывая на посошок Николая Петровича, может быть, припоминая какой-нибудь нехороший случай, произошедший в вагоне с подобным старичком-просителем, которого она по неосторожности взяла до ближайшей станции. Николай Петрович, не зная, как рассеять эти последние сомнения проводницы, вдруг вспомнил о наставлениях кассирши и, совсем как малому ребенку, как своим внукам-правнукам, по-

обещал:

– Я тебе и на конфеты дам. У меня сохранилось целых двадцать три рубля сорок копеек.

Николай Петрович даже полез было в карман телогрейки за кошельком-лягушкой, но проводница остановила его с упреком и обидой:

– Какие там конфеты! Поднимайся, до Глушкова довезу.

Дважды упрашивать себя Николай Петрович не заставил. Кратко поблагодарил проводницу за согласие и милость и по шатким ребристым ступенькам взобрался в вагон, всего лишь один раз подмогнув себе посошком. Нет, все ж таки мир не без добрых людей! Проводница лишь для виду посомневалась, кто он, да что он, да откуда, а потом вошла в бедственное положение Николая Петровича и взяла в попутчики, безбилетного и хворого, хотя, может, и рискует перед начальством своей работой. В Печерской лавре надо будет непременно и обязательно помолиться за здоровье милостивой этой женщины, за ее детей и родителей. А на те деньги, что проводница не взяла с него за проезд, Николай Петрович купит в Лавре восковую свечу и поставит ее возле иконы Святой Девы Марии, заступницы всех матерей и младенцев. Пусть Дева Мария охраняет своим взором эту приютившую Николая Петровича в беде женщину, пусть даст ей силы не ожесточиться, не очерстветь Сердцем, что так, наверное, легко при ее бессонной подорожной работе.

В вагоне, тускло освещенном двумя-тремя едва мерцаю-

щими под потолком лампочками, Николай Петрович кое-как огляделся и стал высматривать себе свободное местечко. Оно вскоре отыскалось, и совсем неподалеку, в первых рядах. Николай Петрович, придерживаясь за высокие, самолетного какого-то вида кресла, нацелился было к нему, но в самый последний момент осекся и повернул назад: в соседнем кресле возле окошка основательно и, судя по всему, надолго умащивалась та тетка с полосатой, доверху набитой сумкой, с которой он коротал ночь возле кассы и которая так обидно потеснила Николая Петровича из очереди, когда он только еще обнаружил свою пропажу. Сидеть рядом с ней Николаю Петровичу не захотелось: тетка дотошливая, въедливая, тут же начнет расспрашивать о воровстве, о милиции, о том, как же это ему, обворованному и безденежному, удалось сесть на поезд (или воров уже поймали?!), а Николаю Петровичу сейчас не до разговоров, тем более с этой торговой теткой. Ему бы хоть немного побыть в тишине и покое, передремнуть пару часов, как-никак вторую ночь без должного сна.

Местечко себе Николай Петрович отыскал в других, противоположных рядах. Правда, кресло было малость подпорченное, сломанное и не откидывалось, как другие, назад для удобства отдыха. Но он это во внимание не принял: ехать ему недалеко, можно перемогтись и без особых удобств, главное, чтоб никто его не трогал, не мешал глядеть в окошко, за которым сиял огнями, скрадывая темноту, так не по-людски встретивший Николая Петровича город Курск.

Но вот поезд стронулся с места и стал набирать скорость. Огни еще несколько минут бежали вслед за ним, а потом начали отставать, теряться где-то далеко позади, а может быть, и вовсе гаснуть, пугаясь приближающегося рассвета.

Николай Петрович приладил мешок на подлокотнике кресла и склонил на него голову, совсем уже отяжелевшую и опасно горячую от бессонных ночей и стольких переживаний. Дрема сразу стала наваливаться на него, заключать в свои объятия, но Николай Петрович, наверное, еще с мину-ту не поддавался ей, все надеясь, что вот-вот мелькнут перед ним лица Марьи Николаевны или вещего белобородого старика, подвигнувшего Николая Петровича в дорогу, и он спросит у них, как же ему теперь быть дальше, как выпутаться из неожиданной беды и оказии. Но они никак не появлялись, замешкавшись где-то в ночи, и дрема, тяжелый, провальный сон легко одолели сопротивление Николая Петровича, увлекли его в темноту и беспомощность.

Спал Николай Петрович без малого два часа, но когда проводница легонько потрясла его за плечо и предупредила: «Просыпайся, дед, – Глушково!» – ему показалось, что сон был мимолетный, секундный, что Николай Петрович и голову-то не успел еще толком приладить на мешке-подушке, на-лежать теплое сонное место. Он попробовал было отбиться от проводницы, потомиться еще хотя бы чуток, понежиться, как давным-давно, в детстве, лежал-нежился на материнской пуховой перине. Но проводница была неумолима, все трясла

и трясла его за плечо:

– Вставай, вставай, пограничники сейчас подойдут, таможня!

И сон как рукой сняло с Николая Петровича. Он вдруг вспомнил все свои злключения, обидные промашки и беспечность, которые довели его до такого стыда и позора, что едет он в поезде безбилетным «зайцем» и вся его судьба теперь в милости проводницы. Но с еще большей тоской Николай Петрович подумал о том, что впереди ждут его злключения, наверное, еще более тяжкие, супротив которых нынешние покажутся просто детскими забавами, и он должен готовиться к этим злключениям-испытаниям, раз уж не послушался в Курске милицейского майора и не повернул домой, в Малые Волошки.

Николай Петрович в заполошном стариковском испуге подхватил мешок и, не надевая его на плечи, метнулся вслед за проводницей в тамбур, чтоб действительно, не дай Бог, не встретиться с грозными пограничниками или таможенниками, которые тут же начнут требовать у него документы, проверять в мешке поклажу, а там возьми да и обнаружится что-либо недозволенное.

Но, к счастью, все обошлось. Как только поезд остановился, проводница сразу открыла дверь и выпустила Николая Петровича на волю, спасла от возможного преследования. Да он и сам в последнее мгновение сообразил, что пока ему бояться нечего, что пока он все ж таки на своей, русской зем-

ле, и пограничники с таможенниками тут тоже свои, русские. Они обязаны охранять и защищать Николая Петровича от всяких обид и напастей, если только он сам, понятно, не нарушает дисциплины и порядка, не наносит хоть самого малого ущерба государству.

Мысли Николая Петровича были вполне справедливыми, твердыми, и он, стоя уже на перроне, без прежней опаски посмотрел на крытый брезентом военный грузовик, возле которого дежурили два прапорщика в пограничной форме. Никакого страха не вызвали у Николая Петровича и пограничные офицеры, цепью рассыпавшиеся вдоль состава, чтоб через минуту начать в вагонах строгую свою проверку. Наоборот, он почувствовал себя под их защитой уверенней, как случилось во время войны, когда после долгого безвестного перехода, блуждания по метельной степи или по непролазным лесам и чащобам вдруг обретаешь свои части, свою, русскую речь и от этого словно заново возрождаешься к жизни.

Вдали, за водокачкой и какими-то железнодорожными пакгаузами, Николай Петрович заметил еще один крытый грузовик, а возле него стайку военных в непривычной для него, ни разу не виденной темной форме. Николай Петрович решил, что это и есть таможенники. Но и они не вызвали у него никакой тревоги. Коль уж объявилась между Россией и Украиной граница, так таможенники, охранники народного добра, должны быть непременно: люд ведь всякий через границу ездит, не успеешь оглянуться, вывезут все самое цен-

ное и необходимое для государственной жизни.

Привела Николая Петровича в чувство, пробудила от восторженных этих размышлений проводница. Она тоже спустилась на перрон и, внимательно и заинтересованно поглядывая на военных, посоветовала ему:

– Ты тут, старый, долго не задерживайся. Мало ли чего...

– Чего? – расхрабрился Николай Петрович.

– А того! – притишила его проводница. – Ты человек здесь чужой, приметный, могут и проверить.

Николай Петрович мгновенно осекся, потерял петушиную свою храбрость. Действительно, гоношиться ему на приграничной территории не приходится: свои, не свои, а документы, удостоверение личности запросто потребуют – затем здесь и несут бдительную доглядную службу.

А проводница тем временем наставляла Николая Петровича дальше:

– Ты поначалу иди все улицей и улицей, а потом свернешь переулком налево, к околице, к дороге на Волфино. Граница там только на бумаге числится, а так и хохлы и наши ходят друг к дружке в гости, как ходили и раньше. Иди и ты по тропке, и если поспеешь в Волфино до отхода поезда, я тебя подберу, так и быть...

– Я, чай, не успею, – засомневался Николай Петрович.

– Успеешь, успеешь, – приободрила его проводница. – Мы в Глушкове не меньше часа будем стоять да столько же на той стороне. А тебя, может, кто машиною или подволою под-

бросит. К поездам торговать многие ездят.

Не зная, как и благодарить проводницу за столь дельную подсказку, Николай Петрович опять вспомнил о двадцати трех рублях, хранящихся в кошельке-лягушке, и подступился с ними к ней:

– Может, все-таки возьмешь на конфеты?

– Ну что ты заладил со своими конфетами! – отстраняя кошелек, осерчала даже проводница. – Иди, пока не поздно.

Николай Петрович засовестился малого своего дарения, хотя вроде бы и не предложить его было нельзя: проводница, подобрав безбилетного Николая Петровича в поезд, немало рисковала железнодорожной выгодной службой, ведь ее саму могли проверить контролеры на любом участке пути. Но, видно, она не очень походила на других своих товарок, которые за рискованый такой провоз взяли бы с Николая Петровича и на конфеты, и на вино, – видно, другая у нее душа и сердце, и большое ей за это спасибо.

Николай Петрович спрятал назад в карман кошелек, показавшийся ему действительно по-лягушечьи холодным и увертливым, и торопко шагнул с асфальта на грунтовую землю, сказав проводнице на прощанье самые обыкновенные, простые слова:

– Ну, дай тебе Бог здоровья!

– И вам тоже, – не загордилась, приняла пожелания Николая Петровича проводница, как будто в одно мгновение превратилась из чужого, постороннего человека в самого близ-

кого, породненного общей жизнью и участью.

Несколько минут она молча наблюдала, как Николай Петрович, обходя на всякий случай стороной пограничный и таможенный наряды, все удаляется и удаляется от железной дороги, а потом уже со ступеньки вагона вдруг крикнула ему вдогонку:

– Пospешайте, поспешайте, я подберу!

Николай Петрович помахал ей в ответ фуражкой – мол, слышу тебя и понимаю, великое тебе спасибо.

Переулок, указанный проводницей, обнаружился почти в самом конце улицы, за двумя березами-сестрами, на которых были устроены детские качели. Но самих детей пока видно не было: сон у них в ранние часы самый сладкий и непробудный, убаюканный запахами цветущих садов и черноземной земли.

Пройдя насквозь этот по-утреннему еще пустынный и тихий переулок, Николай Петрович выбрался на свободное пространство за околицу, но никакой границы там не обнаружил. Вокруг, сколько хватало глаза, простирались поля, луговины и перелески, изрезанные нахоженной и наезженной велосипедами тропинке. И лишь далеко на горизонте в окружении березняка виднелось какое-то селение. Николай Петрович пошел в этом направлении, решив, что это и есть Волфино – запретная украинская сторона. Конечно, лучше было бы спросить у кого-нибудь встречного, правильна ли его догадка и не идет ли он по незнанию в обратную от гра-

ницы сторону. Но навстречу ему никто не попадался, и Николай Петрович шел себе и шел наудачу, на авось, доверившись словам проводницы, которая обмануть его не могла, направление указала точно.

Встречный человек попался Николаю Петровичу только на самом подходе к сельцу. Им оказался мальчишка лет двенадцати, бойко мчавшийся куда-то на велосипеде. Николай Петрович махнул ему посошком, и мальчишка послушно остановился, чуть съехав с тропинки в зелена.

– Это Волфино? – указывая на селение, спросил его Николай Петрович.

– Волфино, – подтвердил мальчишка, явно польщенный вниманием к нему взрослого человека.

– Стало быть – Украина?

– Нет, не Украина, – прищурил на солнце глаза мальчишка.

Николаю Петровичу показалось, что он озорничает, дурачит встречного заблудившегося старика. Подростки – народец еще тот, на выдумки и подначки они горазды. Но на этот раз Николай Петрович обманулся. Его знакомец, чувствовалось, был парнем серьезным, надежным. Словно догадавшись о сомнениях Николая Петровича, он терпеливо и подробно пояснил ему, в чем тут дело:

– У нас русское Волфино, а украинское на той стороне, за оврагом.

– И так было всегда? – немного растерялся от такого от-

вета Николай Петрович.

– Не знаю, – пожал плечами мальчишка, взметнулся на велосипед и покатил дальше, в сторону Глушкова, то ли обидевшись на Николая Петровича за недоверие, то ли действительно не зная, как оно тут было раньше, где находилась украинская, а где русская сторона.

Родился этот мальчишка, если глядеть на его возраст, на самом излете советской власти, а то уже и после ее падения, когда все размежевалось, разбрелось по своим углам и закутам, и знает о том, что было здесь, в приграничье, раньше, только по легендам и преданиям. Граница обозначалась тогда лишь на карте, а в живой повседневной жизни веками обреталось село совместно, роднясь дворами и семьями. Иначе как бы оно заимело общее название?! Нынче же вишь как: русское Волфино на одной стороне, а украинское – на другой, поделенные оврагом.

Проводив долгим прощальным взглядом мальчишку, обреченного теперь жить в этом разделенном селе, Николай Петрович зашагал по весенней влажной тропинке уже без прежнего напора, как будто опасался, что его в русско-украинском Волфине ожидает что-либо враждебное.

Но когда он втянулся в широкую, затененную садами улицу, опасения его рассеялись. Все здесь было тихо и мирно: над домами курились, вились в высокое прозрачное небо дымки; калитки, и ворота в такую рань были еще на запорах; деревенская жизнь кипела пока только во дворах, не выплес-

киваясь на уличное пространство. Николай Петрович шел в полном одиночестве и безмолвии. Никто его не окликал, не интересовался, как того можно было ожидать в приграничном селе, мол, что это за чужой, незнакомый человек с мешком за плечами идет-бредет вдоль заборов и палисадников. Лишь однажды, в отдалении, перешла дорогу Николаю Петровичу женщина с ведрами в руках.

Судя по неторопливой ее, размеренной походке, ведра были полными. Николай Петрович суеверно обрадовался этому – даст Бог, к удаче.

Улица оказалась недлинной, всего, наверное, в двадцать с небольшим домов, и вскорости в простреле осокорей Николай Петрович увидел ее околицу, выгон. Веря в предсказанную удачу, он надал ходу, намереваясь так же незаметно и споро пересечь и этот пустынный выгон, и пограничный овраг, который уже чудился ему совсем рядом.

И вдруг возле одного из окраинных домов Николай Петрович заметил на лавочке какого-то бесприютного, в отчуждении сидящего старика. Одет он был не по весенней поре в кожан, валенки и шапку с опущенными ушами. Николай Петрович поначалу решил было обойти сидельца стороной, чтоб попусту не тревожить человека, которому, может быть, нынче нездоровится. Но потом он все же повернул к нему, словно по чьей-то подсказке вспомнив, что и сам не раз после ночного приступа выбирался так вот на лавочку, тепло, не по сезону одетый, чтоб подышать свежим воздухом, на-

браться немного силы. И всегда ему в такие минуты хотелось людского участия или хотя бы обыкновенного житейского разговора.

– Здорово! – стараясь приободрить старика-страдальца, остановился напротив него Николай Петрович.

– Здорово, если не шутишь, – с трудом выговаривая каждое слово, поднял на Николая Петровича действительно болезненные глаза старик.

Был он года на три-четыре постарше Николая Петровича, худой, костистый, но чувствовалось, что в молодости таилась в нем немалая, может быть, даже богатырская сила. Старик и сейчас, изможденный болезнью, ничуть не согнулся, не ссутулился: сидел прямо и стройно, тесня широкими плечами явно не своего размера кожух. Помимо богатырской, до конца не растраченной и ныне силы, в старике угадывался крутой, неумный характер. И он тут же проявился. Выравнивая и крепя, сколько можно, дыхание, старик рванул вдруг застежку тесного кожуха и выдал Николаю Петровичу тайну неурочного своего здесь сидения:

– Помирать вывели. В хате душно.

– Чего помирать-то в такую пору! – попробовал перебороть его настроение Николай Петрович. – Земля оттаивает, сады цветут, только и живи!

– Нет, к вечеру помру, – стоял на своем непреклонный старик. – Хватит!

Николай Петрович больше уговаривать его не посмел, но

и уйти дальше по тропинке тоже не решился. Это уж будет как-то совсем не по-человечески, не по-христиански – оставить собравшегося помирать старика одного, не обогреть, не ободрить его внимательным словом.

– Хворь-то у тебя фронтальная или так, по возрасту? – нашел сокровенное это слово Николай Петрович.

– Может, и фронтальная, – без особой охоты ответил старик. – Теперь все едино...

– А воевал где? – все дальше завлекал болящего в разговор Николай Петрович, надеясь, что тот забудет о решительных своих намерениях – обязательно к вечеру помереть.

– В моряхах, – с клокочущими хрипами в горле ответил старик и затих, переживая хорошо знакомое Николаю Петровичу по собственным приступам удушье.

Смотреть на него было и жалко, и горестно: ведь чем мучиться и страдать подобным образом, так, может, действительно лучше помереть. У Николая Петровича приступы случаются пока, слава Богу, не часто, и то он изводит Марию Николаевну своими стенаниями: «Хоть бы мне помереть скорее!» А тут человек дошел до крайнего терпения, и осуждать его за подобные мысли нельзя, да может, он и чувствует, что больше как до вечера ему не дожить.

Чтоб не мешать старику в отчаянном его борении со смертью, Николай Петрович тоже затих на тропинке, для верности и устойчивости опершись на посошок. Но глаз он со старика не спускал, готовый в любую минуту кликнуть кого

со двора. И вдруг Николай Петрович на мгновение отвлекся, глянул вверх старика на рясно усыпанную цветами ветку черешни, которая свисала из-за забора, и ясно и видимо представил этого жаждущего скорой смерти страдальца молодым, двадцатипятилетним моряком в лихо заломленной бескозырке, в морском черном бушлате, в тельняшке, туго облегающей мощную, литую грудь. Наблюдать подобных ребят в морских сражениях на кораблях Николаю Петровичу не доводилось, а вот спешенных он несколько раз видел их в штыковых рукопашных атаках в сорок первом году под Москвой. С устрашающим, ревушим каким-то криком: «Полундра!» черной неостановимой лавиной неслись они навстречу вражеским окопам и пулям, в ярости сметая и круша все на своем пути. Немцы боялись их больше пулеметов и пушечных батарей, потому что страшные в этой своей ярости моряки не знали никакой пощады.

А теперь вот один из них, может быть, такой же последний здесь фронтовик, как и Николай Петрович в Малых Волошках, сидел на лавочке в стоптанных негреющих валенках, в кожане с чужого плеча, в шапке с чужой головы и ждал и жаждал скорой смерти.

Николай Петрович опять перевел на старика взгляд, и ему показалось, что тот действительно дождался-таки своего: глаза у него были закрыты, дыхание совсем утишилось, прервалось, лицо, заросшее седой недельной давности щетиной, мертвенно побледнело, осунулось; таким оно, наверное,

бывало лишь в первые минуты после выхода из рукопашного боя, из тех штыковых атак сорок первого года, когда смерть осталась на нейтральной полосе, вся в чужой и своей крови.

Николай Петрович собрался уже было постучать посошком о калитку, позвать кого-либо из домашних старика, но тот вдруг открыл глаза и довольно твердо произнес:

– Ты не бойся, я пока живой.

– Да я и не боюсь, – тоже не без твердости в голосе ответил Николай Петрович. – Смертей не видел, что ли.

Ответ такой старику понравился, он признал в Николае Петровиче своего фронтового товарища, подобрел и, забывая на минуту о смерти, о нетерпеливом ее ожидании, поинтересовался:

– А ты, я вижу, не наш, не местный.

– Не ваш, – охотно откликнулся Николай Петрович, радуясь, что старик больше о смерти не поминает. – Я издалека.

– И куда же путь держишь, пехота? – как бы даже улыбнулся старик, выказывая свое морское превосходство над Николаем Петровичем, действительно пехотинцем.

Уклоняться от любопытства старика Николай Петрович не стал, ведь сам же он и напросился на разговор, желая разузнать дальнейший путь-дорогу через границу. Он с охотой признал морское превосходство старика, хотя и своего, пехотного достоинства терять не был намерен. Пехотинцы тоже ведь не лыком были шиты в войну, и основная фронтовая тяжесть (да и погибель) легла на их плечи. А после вой-

ны дальнейшая мирная жизнь во многом всех фронтовиков уравнила. Моряки, не моряки, разбрелись они по колхозам и городским заводам да и тянули там лямку иной раз покруче военной. Единственное, чему хотелось бы поучиться сейчас Николаю Петровичу у старика, так это надежде на быструю и легкую смерть. Чтоб вот так же выйти поутру на лавочку и в одночасье помереть, не докучая Марье Николаевне.

Понадежней укрепившись на посошке, Николай Петрович подробно рассказал старику о своем паломничестве в Киево-Печерскую лавру, на которое его подвигнул во сне и видении седобородый старец в белых одеждах. Потом с охотой и радостью поведал о первых, начальных днях путешествия из Малых Волошек до Курска, когда ему во всем сопутствовала удача. Старик внимательно и терпеливо слушал, не прервав рассказа ни единым попутным вопросом. И Николай Петрович не смог устоять перед этим его терпением, минуту помедлил и рассказал о злочлечениях в Курске, о несчастных Симоне и Павле, решившихся на воровство, хотя, может быть, об этом старику говорить не стоило, чтоб не омрачать последние часы его жизни злыми, недобрыми вестями. Но старик был терпелив и неожиданно милостив и здесь.

– Ну, коли так, – указал он Николаю Петровичу на лавочку, – то садись.

Николай Петрович с удовольствием сел, действительно крепко уже притомившись стоять на тропинке, словно в ка-

ком карауле, пусть даже и опираясь на верный свой посошок. Старик принял его в соседство совсем уж по-дружески, по-фронтовому, как случалось иногда соседствовать на войне в общем окопе или на госпитальных койках двум землякам-товарищам, и разговорился, опять забыв о скорой смерти:

– Я вообще-то тоже не здешний, а с той стороны, из украинского Волфина. Старуха померла, так сын меня сюда перевез на дожительство.

– Без старухи плохо, – понял его и посочувствовал Николай Петрович, вспомнив добрым словом и покаянием Марью Николаевну.

– Да уж куда хорошо! – как-то отстраненно, как бы сам для себя, ответил старик, должно быть, тоже вспоминая свою жену-старуху, которая не ко времени поторопилась и ушла из жизни раньше его.

Но потом старик вдруг приободрился и, постучав по калитке палочкой, которая невидимо стояла прислоненной к лавочке позади его, крикнул:

– Васька!!

Николай Петрович надеялся, что на его крик сейчас выйдет со двора сын старика, Василий, такой же рослый и крепкий, может быть, тоже проходивший военную службу на флоте. Но в проеме калитки появилась вдруг женщина лет шестидесяти, уже почти старуха, и чуть раздраженно спросила:

– Чего вам?!

– Василиса, – перекрыл ее раздражение грозным взглядом и криком старик. – Ты нам с товарищем налей по рюмке!

– Так вам же нельзя, – попробовала сопротивляться Василиса, судя по всему, старикова невестка.

– Мне теперь уже все можно, – нешуточно взялся за палочку старик. – Неси, коль приказано!

Василиса покачала головой, недружески, сердито посмотрела на Николая Петровича, виновника непозволительной этой выпивки, которая неизвестно еще как может закончиться для свекра, но противиться не посмела. Через минуту-другую она вынесла на тарелке две стограммовые, доверху налитые стопки, несколько кусочков пасхальной еще буженины и вдосталь хлеба. Поставив тарелку на лавочку между стариком и Николаем Петровичем, Василиса задержалась было на тропинке, похоже, все-таки надеясь удержать свекра от выпивки, но тот присутствия ее и догляда не потерпел, опять взялся за палочку:

– Коли надо, покличу! Иди!

Василиса послушаться его и на этот раз не решилась, покорно ушла за калитку, видно, с молодых еще лет, с первых дней замужества приученная во всем подчиняться грозному свекру.

Старик подождал, пока не очень поспешные, тоже уже старческие ее шаги затихнут в глубине двора, и лишь после этого потянулся за стопкой:

– Ну, за что будем пить, пехота?

– Да кто его знает, – растерялся Николай Петрович.

– А я думаю, – строго глянул и на него старик, – давай за погибель нашу, за смерть выпьем. Больше не за что!

– Почему же не за что?! – попробовал сопротивляться Николай Петрович, первый раз в жизни слыша подобный тост и пожелание.

– Да потому! – еще сумрачней посмотрел на него старик и, широко открыв рот, одним махом выпил, быть может, последнюю в жизни стопку.

А Николай Петрович цедил свою с натугою сквозь зубы, чувствуя, как все нутро у него сопротивляется этим фронтным ста граммам. Оно и правда, как можно пить живым еще пока людям за погибель свою, за смерть?! Но старик, подступивший к последней черте, видимо, думал иначе, видимо, ему открылось что-то такое, чего Николаю Петровичу сегодня еще не понять и что откроется ему тоже лишь в последние часы жизни.

Поставив пустую стопку на тарелку, старик ни к хлебу, ни к мясу не притронулся, а, блаженно закрыв глаза, опять за тих, словно окаменел, и только широко раздуваемые от болезненного дыхания ноздри давали знать, что он еще жив.

Но вот старик согнал с лица блаженную скоротечную улыбку и, пугая Николая Петровича еще шире, почти предсмертно раздувшимися ноздрями, заговорил прежним своим грозным голосом:

– Ты за меня не молись!

– Почему? – вздрогнул от запретительных этих и необъяснимых слов Николай Петрович.

– Потому, что крови на мне много!

– Вражеской, небось, крови? – помог ему одолеть сомнения Николай Петрович.

Но старик был непреклонен и крепок в своих мыслях:

– А вражеская кровь что, не человеческая?!

Николай Петрович собрался было возразить строптивому старику, что и он сам, и, к примеру, сотни и тысячи других фронтовиков проливали кровь человеческую не по своей воле и желанию, а принужденно, по крайней необходимости, защищая Отечество, Родину от поругания и гибели. Греха в этом нет никакого, а наоборот, лишь честь и возвеличение – об этом и в Святом Писании сказано. Но, еще раз глянув на старика, говорившего с ним уже как бы оттуда, Николай Петрович унял свою строгость. И, кажется, вовремя. Старик открыл глаза, по-детски, по-младенчески чистые и светлые, но действительно как бы уже и не совсем земные, и сказал последнее:

– И ни за кого не молись! Нет человекам прощения перед Богом и нет им райской жизни!

После этого он, не давая Николаю Петровичу опомниться и возразить что-либо особо неопровержимое и достойное, неглубоко болезненно вздохнул и совсем уже другим, обыденно-мирским тоном и голосом попросил его:

– Ну а теперь иди помалу. Там тропинка есть по лугам и буеракам, она и выведет тебя прямо к станции. Спасибо, что уважил перед смертью.

Никаких ответных, примирительных слов у Николая Петровича сразу не нашлось. Он покорно поднялся с лавочки, взял в руки посошок, и лишь когда встал на тропинку, то промолвил старику, пряча свои сомнения и несогласия:

– Может, твоя и правда!

Больше он на старика ни разу не оглянулся, словно боясь услышать от него еще какие-либо, совсем уже последние слова, а, ходко набирая шаг, пошел к околице, к обрыву садов и пашен, к окоему земли.

Остановился Николай Петрович лишь возле небольшого овражка, пролегающего на подступах к лугу, действительно окоема возделанной и готовой к севу земли. Тропинку, обозначенную стариком, он обнаружил чуть в стороне, за ивовыми и лозовыми кустами, неширокую и как бы даже скрытую меж луговых кочек, но хорошо наторенную за долгие годы, а то, может, и десятилетия взаимных хождений русских и украинских волфинцев. Недавно отступившая зима, снега и заметы несколько ей не навредили, не сровняли с лугом, не дали заблудиться в топких болотцах и лощинах так, чтоб по весне люди вовсе потеряли ее из памяти. Скорее всего, она была тут и зимой, поверх снегов и буранных наносов бежала по наледи из России в Украину, натоптанная валенками и сапогами, накатанная саночками, потому как и в зимнюю

пору жизнь не останавливается, не прерывается, люди хотят знать и видеть друг друга.

Безоглядно доверившись тропинке, Николай Петрович уже вступил было на нее, но потом все же притаился за кустом лозы и, несколько раз перекрестившись на восход солнца, словно на красный угол, где обязательно должны были стоять на киоте образа, опять прошептал про себя тот отрывок из «Молитвы ко Пресвятой Богородице от человека, в путь шествовати хотящего», который остался в его нетвердой, смятенной памяти:

«О Пресвятая Владычице моя, Дево Богородице, Одигитрие, покровительнице и упование спасения моего! Се в путь, предлежащий, ныне хочу отлучиться и на время сие вручаю Тебе, премилосердной Матери моей, душу и тело мое, вся умныя моя и вещественныя силы, всего себя вверяя в крепкое Твое смотрение и всесильную твою помощь».

Дальше слова в памяти терялись и пропадали, как и в прошлый раз, еще дома, на станции, когда Николай Петрович только начинал свое путешествие, садился на поезд. По лениности и нерадению он в те минуты не достал из целлофанового пакетика исписанный рукой Марьи Николаевны листочек с молитвою и не прочитал его до последнего, окончательного слова: «Аминь!». А теперь уже и не достанешь. Страждущие Симон и Павел вместе с документами и деньгами унесли и ее. И хорошо, если прочитали и задумались над вещами, молитвенными ее словами, а то ведь, скорее всего,

выбросили куда-нибудь за ненадобностью. Грех им и новые страдания за это! Но Николаю Петровичу вдвойне! Не сохранил, не уберег молитвы, вот и пошли с ним всякие злоключения и напасти, мирный Ангел-Хранитель оставил Николая Петровича в пути.

И все же ему стало гораздо легче и уверенней в себе, слова задушевно роились в голове, призывая Ангела-Хранителя вернуться назад и сопровождать его в дальнейшем без всякой обиды за старческую оплошность. Покаяние за эту оплошность у него сильное и чистосердечное, а в Киево-Печерской лавре перед святыми иконами и мощами еще больше окрепнет. Николай Петрович в последний раз осенил себя крестным знаменем, и Ангел-Хранитель, кажется, простил его, вместе с шелестом набежавшего ветра во всеуслышанье шепнул: «Ступай себе с Богом!»

Николай Петрович послушался его, с легким сердцем и ратной отвагой вернулся на тропинку и пошел по ней широким хозяйским шагом, как привык всегда ходить у себя дома, в Малых Волошках. Ему почудилось, что молитвенные слова и возвращение Ангела-Хранителя не только придали ему новых, освежающих сил, но и надежно оборонили от страшных наветов помирающего позади него на лавочке старика, который отрекся в гордыне своей даже от посмертной за себя молитвы. Николай Петрович отверг все его греховные, беспомытные уже речения и дал себе твердый наказ помолиться за него в Киево-Печерской лавре, дабы на том свете был ему

уготовлен покой и утешение.

Николай Петрович спустился в овражек и вышел из него, невредимый, на луговую возвышенность, освещенную утренним радостным солнцем. На какой он находился сейчас стороне: в России еще или уже на Украине, – Николай Петрович определить не мог. Тропинка нигде вроде бы не переменилась, была постоянно, одинаково торной и по-весеннему мягкой. Одинаковым было и солнце, тоже, должно быть, не в силах различить и разобраться, где чья сторона, чтоб одну осветить и обогреть пощедрее, а другой по какой-либо только ему ведомой причине тепла поубавить.

Время от времени поглядывая в сторону железнодорожной линии и чутко прислушиваясь, не подаст ли голос гудком паровоза или перестуком колес прошедший пограничную и таможенную проверку поезд, Николай Петрович грелся на солнышке и все прибавлял и прибавлял шагу. Поезда пока слышно не было, и он премного радовался этому обстоятельству, хранил в душе надежду, что действительно поспеет к назначенному часу в украинское Волфино и благосклонная к беде Николая Петровича проводница опять подберет его. Но если даже и не подберет, если даже Николай Петрович и припозднится (все-таки с предсмертным, несговорчивым стариком в русском Волфине он времени потерял порядочно), то огорчаться этому особо не следует – как бы там ни было, а к Киеву, к его святым местам он помалу приближается.

Тропинка тем часом миновала луг и нырнула опять вниз, в овражек и мрачный какой-то, сырой буерак, как и предреждал Николая Петровича на той стороне волфинский сиделец. Но он ничуть не убоился этой буерачной темноты и сырости, а наоборот, обрадовался ей – стало быть, он нигде не сбился с дороги, идет в верном направлении и скоро за буераком ему уже откроется железнодорожная украинская станция.

И вдруг на последнем крутом обвальном подъеме кто-то из-за кустов властно окликнул Николая Петровича:

– Эй, ты!

Николай Петрович в испуге и неожиданности вздрогнул, вскинул голову и увидел прямо перед собой двух мужчин в военной пятнистой форме. Он сразу догадался, что это пограничники, но понять, какую границу они стерегут, русскую или украинскую, было никак невозможно: подобную форму могли носить и в России, и на Украине, и в любой другой стороне бывшей их совместной, а теперь разоренной державы. Своей формы измельчавшие страны по бедности еще не завели, а этой в Союзе было нашито многие миллионы: граница-то вон какая простиралась – немеренная.

Между тем один из мужчин, обременительно толстый и тучный для военного, приказал Николаю Петровичу:

– Вылезай!

Деваться Николаю Петровичу было некуда, и он послушно стал одолевать неожиданно скользкий и увертливый подъем.

Первый испуг у Николая Петровича, правда, уже прошел, истаял, и он, опираясь на посошок, продвигался к пограничникам по возможности ровным и твердым шагом.

– Кто и откуда?! – не дав Николаю Петровичу как следует отдышаться, принялся чинить допрос грузный, отяжелевший пограничник.

Другой, похудее и поуже в плечах и пояснице, стоял пока смирно, будто сторонний наблюдатель. Николай Петрович прежде, чем ответить допросчику, взглянул именно на него, не то чтобы ища поддержки и послабления, а просто почувствовал, что щупленький этот, пожилой уже сержант-сверхсрочник, только что сменившийся с ночного дежурства, торопится поскорее домой и не очень доволен задержкой, которую устроил его напарник. На зеленой пограничной фуражке Николай Петрович увидел у него кокарду, а на кокарде – похожий на обыкновенные сенные вилы или на рыбацкие ости трезубец. Точно такой же трезубец красовался и на фуражке допросчика, только Николай Петрович поначалу его не заметил, поскольку глядел допросчику прямо в глаза, стараясь распознать, что он за человек и чего можно ожидать от него в эти тоскливые минуты, а на грозные его погоны прапорщика и на мятую, далеко сдвинутую на затылок фуражку не обратил никакого внимания.

– Ну, чего молчишь?! – поторопил его с ответом допросчик.

– Думаю, – потверже укрепился посошком Николай Пет-

рович на тропинке, заманчиво убегающей вдаль, к железнодорожной станции.

– И чего же надумал?!

Николай Петрович решил говорить всю правду, справедливо рассудив, что против этой правды не устоит ни один допросчик, с трезубцем он в головах или нет:

– Паломником иду в Киево-Печерскую лавру, помолиться святым иконам и мощам.

– Москаль, что ли? – перебил его грубым словом допросчик, по чистоте русского говора Николая Петровича догадавшись, откуда он.

– Тебе виднее, – уклончиво ответил Николай Петрович и стал выжидать, что будет дальше.

Обижаться ему на эту грубость не приходилось: стало быть, так теперь заведено на Украине, что всякий-прочий русский человек для них москаль, да и только. Но пусть будет и так, пусть москаль, московский, значит, житель.

Допросчика же уклончивый ответ Николая Петровича не на шутку рассердил. Он совсем уж волком глянул на него сверху вниз и задел новой обидой:

– А у вас что ж, теперь и помолиться негде?!

– Почему – негде? – выдержал и эту обиду Николай Петрович – Слава Богу, и у нас есть еще святые места. Но мне видение было, наказ – идти в Киево-Печерскую лавру.

Допросчик на мгновение осекся, замолчал, словно размышляя наедине с собой, верить Николаю Петровичу или не

верить, – и наконец все-таки не поверил, натужно хохотнул и призвал в свидетели-помощники своего товарища.

– Ты послушай, Никита! Видение ему было, наказ! Это еще надо поглядеть, от кого наказ!

– Ну что ты пристал к человеку, – не обманул Николая Петровича, заступился за него щупленький, торопящийся домой Никита. – Пусть идет себе, молится.

– Как это – идет?! – возмутился допросчик. – Да может, он лазутчик московский, вор?!

– Ну какой там лазутчик?! Ты что, не видишь?

– А вот мы сейчас проверим, – еще больше накалился от этих защитительных слов допросчик. – Документы показывай, дед!

Николай Петрович переменял на посошке руку, вздохнул и опять сказал всю правду, и не столько потому, что надеялся на послабление, сколько по той причине, что больше говорить ему было нечего:

– Нет у меня документов. Обворовали в Курске.

– Ну вот! – прямо-таки возликовал допросчик. – Мало того, что москаль, так еще и без документов.

Известие о том, что у Николая Петровича нет в наличии паспорта и никаких иных удостоверений, насторожило и Никиту. Он подошел поближе, оглядел Николая Петровича с ног до головы и, кажется, засомневался в своей защите. Тут уж что ни говори, а налицо явное нарушение – самовольный переход границы без надлежащих документов и свиде-

тельств.

– А что в торбе? – мгновенно почувствовал эти сомнения и поддержку Никиты допросчик. – Показывай!

Сопrotивляться Николаю Петровичу опять было никак нельзя. Он послушно снял мешок и поставил его у ног допросчика. Беспаспортный и подневольный, да еще в чужом краю, Николай Петрович мог теперь уповать только на Бога да на Ангела-Хранителя. Но тот, похоже, остался по ту сторону границы, в русском Волфине, а то, может, еще и в Глушкове, не посмея последовать примеру Николая Петровича.

– Развязывай! – приказал тем временем допросчик.

Николай Петрович прислонил к лозовому кусту посошок и, невпопад путаясь в тугих бечевках, начал развязывать заплечный свой мешок. Допросчик внимательно следил за каждым движением Николая Петровича, раздражался его медлительностью и неловкостью, но на помощь не пришел, боясь, должно быть, уронить грозное свое пограничное звание.

Наконец Николай Петрович кое-как с бечевками справился, пошире раздвинул зев мешковины и пригласил допросчика:

– Гляди!

Тот проворно и как-то очень уж заученно засунул туда сразу две здоровенные ладони, все в мешке переверорошил и перемял, но, чувствовалось, обследованием своим остался

недоволен и в следующее мгновение одним-единственным, опять-таки неуловимо ловким движением вытряхнул содержимое мешка на придорожную траву.

Буханка хлеба и узелок с остатками сала откатились к самому обрыву буерака, и если бы не лозовый куст, то соскользнули бы и дальше вниз, на сырое его и темное дно. Но куст и прислоненный к нему посошок, слава Богу, удержали их, вселив в Николая Петровича надежду, что после всего этого разбоя он хлеб и узелок подберет – вряд ли допросчик на них позарится.

Тот действительно не позарился. Но и не отпустил Николая Петровича, а придумал новую затею.

– Ладно, дед, – вроде бы даже с улыбкою затронул он его. – За беспаспортный переход границы причитается с тебя штраф – и иди, куда хочешь. Доллары есть?

– Да откуда же у меня доллары? – поразился его глупому вопросу Николай Петрович.

– А дойчмарки или гривны? – не унимался допросчик.

О том, что на Украине теперь в ходу не рубли, не карбованцы, как раньше, при общем Союзе, а гривны, Николай Петрович слышал, но в глаза их сроду не видывал и в руках не держал, потому как никаким манером они в Малые Волошки залететь не могли.

– Нет ни марок, ни гривен, – еще больше обозлясь на неразумные домогательства допросчика, ответил Николай Петрович.

Но тот умней не становился, разыгрывал настоящий спектакль, гоняясь за Николаем Петровичем, как кот за мышью.

– Ну а ваши, деревянные, есть?

– Наши есть! – не выдержал розыгрыша Николай Петрович. – Двадцать три рубля, остальные все украли, я же говорил.

– Давай двадцать три! – не побрезговал мелкой, копеечной суммой допросчик.

Николай Петрович раскрыл кошелек-лягушку, достал оттуда двадцать рублей двумя бумажками и три рубля металлическими скользкими монетками и положил все это богатство в протянутую к нему руку-совок допросчика. Правда, в кошельке оставалось еще сорок копеек, но их Николай Петрович отдавать не стал, и не то чтобы пожалел, а просто решил – пусть будут на развод. Примета такая у них есть в Малых Волошках: если в кошельке завелась хоть одна копейка, то со временем она прирастет другими, более звонкими и полновесными. Допросчик, особо не оглядывая деньги, запрятал их в карман, а оттуда вдруг достал самопишущую ручку и принялся искать еще что-то, обследовал для этого все остальные карманы пятнистой куртки и брюк, но, так ничего и не найдя, забеспокоился:

– Ах ты, черт, бланки квитанций позабыл!

– Да ладно, обойдется и без квитанций, – утешил его Николай Петрович и, склонившись к земле, начал потихоньку собирать в мешок разбросанные свои пожитки.

Но допросчик не перестал сокрушаться и даже опять затронул Никиту, нервно докуривавшего в стороне дымную сигарету, чем-то похожую на военно-фронтovou самокрутку-цигарку:

– У тебя нет?

– Нету! – буркнул в ответ Никита и бросил окурочок далеко в кусты.

Подробно вникать в перебранку пограничников Николаю Петровичу было ни к чему. Какая ему разница, получит он квитанцию или нет (куда и кому ее предъявлять?)! Главное, чтоб пограничники его поскорее отпустили, может, он и правда успеет еще к поезду. А штраф с Николая Петровича, если разобраться, за пересечение границы чужого государства без документов и обозначения личности положен, и наверное не в двадцать три рубля. Это Николай Петрович еще хорошо отделался, ведь взбеленившемуся допросчику ничего не стоило бы вытурить его на ту сторону, в русское Волфино, а то и вообще заарестовать, действительно заподозрив в нем какого-либо лазутчика и нарушителя.

Николай Петрович поторопился со сборами. В первую очередь он подобрал с земли буханку хлеба, аккуратно обобрал с нее все налипшие соринки и прошлогодние сухие листики, снял жучка – божью коровку, успевшую уже взгромоздиться на краешке чуть порушенной при падении хлебной корки. Потом завернул буханку в чистое полотенце и спрятал в сохранение на самый низ мешка, потому как эта бухан-

ка была теперь для него поважнее всего остального имущества, рубах и белья – добираться Николаю Петровичу до Киева вон еще сколько, а другой еды не предвидится.

Допросчик, получив штрафные деньги, тоже успокоился и, кажется, готов был, помирившись с Никитой, уйти своей дорогой. Но вдруг он с какой-то особой придиркой глянул на Николая Петровича и опять взыграл, распалился:

– Ого, дед, какие у тебя добрые чеботы!

– Чеботы хорошие, – не понимая еще, к чему это он клонит, согласился Николай Петрович. – Сын подарил.

– И какой размер? – допытывался тот.

– Сорок третий, – простодушно признался Николай Петрович и вдруг весь обомлел, запоздало догадавшись о замысле допросчика.

И ничуть он в догадке своей не ошибся.

Допросчик еще раз окинул завистливым взглядом офицерские выходные сапоги Николая Петровича, которые он сдуру надел в такую опасную дорогу, и вдруг предложил:

– Давай меняться. Они тебе все равно жмут.

– Да нет, вроде не жмут, – в надежде как-либо отбиться от этой новой напасти запротивился Николай Петрович.

Но допросчик был уже неостановим, опять кинулся в розыгрыш и хохоток, выставил перед Николаем Петровичем, опираясь на каблук, обтерханный свой полукирзовый сапог и подналег еще посильней:

– Давай, давай! Мои гляди какие разношенные, мягонь-

кие, как раз тебе в дорогу.

От этого напора и нахальства Николай Петрович совсем пришел в растерянность, ослаб душою. На розыгрыш затея допросчика не походила. Позарился он на сапоги Николая Петровича всерьез, и никак от него не отговоришься, не отобьешься, ведь, опять-таки, запросто он может повернуть Николая Петровича на ту сторону границы, и тогда все паломничество его сорвется, наказ явившегося в видении старца он не выполнит, а это великий и неискупимый грех.

Последняя надежда у Николая Петровича была еще на Никиту. Может, он все ж таки войдет в его положение и как-либо оборонит от поругания, урезонит совсем распоясавшего своего напарника. Никита человек вроде бы разумный, совестливый – это по всему видно, он с самого начала был на стороне Николая Петровича, сразу поверил, что никакой он не лазутчик, не вор, а просто попавший по досадной оплошности в беду старик. Никита и вправду вышагнул было вперед и окоротил допросчика со всей решимостью:

– Ты что, совсем уже!..

Но это допросчика лишь раззадорило еще больше. Он легко оттолкнул слабосильного Никиту в кусты и овраг, забористо обматерил его:

– Да пошел ты!!!

И Николай Петрович понял, что никак они с Никитой от допросчика не оборонятся, тут надо сдаться, подчиниться злой его воле, иначе Николаю Петровичу действительно Ки-

ева и святой Печерской лавры ни за что не видать. Он отодвинул в сторону почти уже собранный мешок, присел прямо на землю и стал поспешно снимать сапоги, дорогой Володькин подарок, которым он всегда гордился перед остальными волошинскими стариками.

Правый сапог Николай Петрович снял легко, лишь немного поднажав на подъем рукой. А вот с левым пришлось помучиться долго. Пораненная нога от долгой ходьбы поотекла, набрякла, и сапог никак не хотел поддаваться. Дома в таких случаях на помощь Николаю Петровичу всегда приходила Марья Николаевна, усаживала его на низенький ослончик и, помалу подергивая, стаскивала сапог, не причинив увечной ноге никакой боли. Но здесь у Николая Петровича помощников не было. Просить Никиту, доводить его до такого унижения он ни за что бы не посмел, а допросчику ни за что бы не позволил, хотя тот, только Николай Петрович заикнись, стащил бы с него сапог за милую душу.

И все-таки кое-как Николай Петрович справился без посторонней помощи и с левым сапогом. Нога, правда, при этом предательски заныла, вспыхнула неожиданной острой болью, словно от нового какого, повторного ранения. Но Николай Петрович стерпел ее, аккуратно поставил левый сапог рядом с правым, готовым уже к передаче и полону, и поднял на допросчика глаза:

– Бери!

В голове у него при этом мелькнула было самая уж послед-

няя спасительная мысль: а вдруг все еще сладится, сапоги не подойдут допросчику по размеру – у такого детины-разбойника нога должна быть не сорок третьего размера, а вдвое больше.

Но ничего не сладилось. Допросчик проворно, в два движения снял грязные, донельзя измочаленные от плохого обихода сапоги и отшвырнул их под куст. Потом он так же проворно перемотал на ногах заскорузлые какие-то, оторванные от бабьего платка портянки и через минуту уже красовался в обнове. Словно догадавшись о сомнениях Николая Петровича, он раз и другой притопнул каблуками о затвердевшую у буерака землю, приспустил для форсу гармошкой голенища и, довольный приобретением, по-разбойному хохотнул:

– Как раз впору, а ты боялся!

– Носи на здоровье, – только и нашелся что ответить Николай Петрович.

А Никита всего этого поругания не выдержал, опять в сердцах сплюнул и, круто развернувшись, пошел вдоль оврага по едва приметной там стежке.

– Иди, иди! – подогнал его матерком допросчик.

Набежавший ветер отнес матерные с вывертом слова в распаханное черноземное поле, и Никита их не расслышал. Он уходил все дальше и дальше, оставляя Николая Петровича один на один с обидчиком, настоящим татем и вором с большой дороги. Ни силой, ни словом Николай Петрович удержать его не мог и теперь хотел только одного: как мож-

но скорее обуться в какие-никакие сапоги и уйти к поезду, который уже несколько раз гукнул, подал предупреждающий голос в Глушкове.

Допросчик, было видно, тоже поторапливался, опасаясь, что вдруг на пограничной тропинке появится какой-либо до-тошный житель из украинского или русского Волфина, и от него так легко, как от запятнавшего себя послаблением москалям Никиты, не отделаешься, придется объясняться, что за расправу он тут чинит над стариком, пусть тот даже и беспаспортный нарушитель. Поэтому допросчик не стал больше мешкать, тянуть время, он быстро подобрал с земли старые свои разбросанные сапоги, ударил ими друг о дружку, сбивая налипшую грязь, и протянул Николаю Петровичу. Тому деваться было некуда: хоть и худая, а все ж таки обувка, – и он приготовился облачиться в эти похожие на калоши-бахилы обноски. Но допросчик в самый последний момент, когда сапоги были уже, считай, в руках Николая Петровича, вдруг застыл под кустом, воровато посмотрел вслед уходящему Никите, потом огляделся по обе стороны тропинки и с хохотком перебросил сапоги себе под мышку:

– И так дойдешь, не зима на дворе! А мне в хозяйстве пригодятся!

Он по-волчьи, сразу всем туловищем крутанулся на месте и, не дав Николаю Петровичу опомниться, сказать хоть единое слово, нырнул в овражные и буерачные заросли, ничуть не думая о том, что хромовые выходные сапоги там можно

непоправимо поранить о коряги и сучья.

От такого, совсем уж нечеловеческого надругательства Николаю Петровичу стало вовсе не в состоянии. На дворе действительно уже не зима, а май, травень месяц, но все равно еще прохладно, не время ходить босиком, хотя Николай Петрович к этому и привычный. Дома, в Малых Волошках, он все лето обретается босиком. Говорят, так очень полезно для здоровья и особенно для пораненной ноги – через землю и траву к ней прибывает сила и крепость. Но то дома, во дворе и на огороде, под присмотром Марьи Николаевны, которая, чуть захладевает или надвинется дождь, сразу несет ему какие-либо башмаки и теплые носки, а здесь, на людях, в дороге, да еще в какой непростой дороге к святым местам и пещерам, как идти босиком по сырой, не прогретой как следует солнцем первомайской земле?! Но по земле еще ладно, как-нибудь Николай Петрович перетерпит холод и ненастье, а вот случись ему опять садиться в поезд, так проводница ни за что не пустит, скажет, что это за безобразный вид такой и посрамление. О Киево-Печерской лавре и вовсе говорить не приходится: ведь не полагается православному человеку, грешно и святотатственно, заходить в церковь босиком.

В общем, совсем худо оборачивались дела у Николая Петровича, хоть бери да по доброй воле, все время пешком и пешком, возвращайся назад в Малые Волошки, сгорай там от стыда и срама перед каждым встречным-поперечным, думай о покаянной встрече с Марьей Николаевной и послав-

шим его в дорогу старцем, доверия и надежды которого он не оправдал.

Посидев еще несколько минут на земле в полной растерянности и унынии, Николай Петрович и вправду едва было не встал на обратную тропинку, тем более что поезд в Глушкове еще раз гукнул, обозначил себя голосом, а потом и во все застучал колесами, замелькал в полосе отчуждения зелеными, далеко видимыми вагонами. Пospеть на него Николай Петрович уже никак не мог, да если бы даже и поспел, то в босом своем опозоренном виде на глаза проводнице не показался бы.

И вдруг Николай Петрович заметил в отдалении по краю буерака стайку лип, уже в зрелом, плодоносном возрасте. Он быстро снял портянки, самовязанные шерстяные носки, спрятал их в мешок, потом закатал почти до колен штанины, чтоб нечаянно не измазать их, не замочить в росной траве, и устремился к липам, радуясь неожиданной своей догадке, сулившей ему подлинное спасение. Земля была действительно холодной и сырой от утренней росы, но Николай Петрович скоро притерпелся к холоду, по давнему, еще детско-пастушескому своему опыту зная, что холод этот через минуту-другую вызовет к ногам прилив крови, и они покраснеют, наполнятся теплом.

Оно и верно, при подходе к липовой стайке холод отступил, ноги покраснелись, словно у какого-то гуся, и уже питали теплом все тело, извлекая его из земли, которая бывает

холодной только сверху, а глубоко внутри всегда горячая и огнедышащая.

Липы уже распустили бледно-зеленые, сладкие на вкус листочки и теперь шелестели ими, высоко возвышаясь над черным, безлистным еще терновником, заполонившим в том месте все склоны оврага.

– Ну, подружки, выручайте! – подошел вплотную к липам Николай Петрович.

Те при очередном порыве ветра склонились ветвями почти к самому его лицу и согласно вздохнули:

– Ладно уж, выручим.

Николай Петрович тут же достал из кармана ножик-складенек, радуясь, что его не изъяли ни Симон с Павлом, ни нехристь этот, допросчик с трезубцем на голове, и подступился к первой, определенно старшей по возрасту липе. Оглядев ее со всех сторон, Николай Петрович лишь укрепился в спасительной своей мысли: с этих лип он может надрать вдосталь лыка на самые лучшие и самые ходкие в мире обутки – лапти. Николай Петрович даже загоревал – что ж он не сподобился сплести их еще дома, по свободе и отдыху. Ведь как удобно и мягко было бы идти в лаптях и по земляной тропинке, и по каменно-твердому асфальту, и по дощатому настилу всяких кладок и переходных железнодорожных мостов. Больной ноге в них было бы покойно и нестеснительно, не понадобился бы даже и посошок. Сапоги же можно было нести запрятанными в заплечном мешке и пе-

реобуться в них лишь при подходе к Киев-городу, к святым Печерским пещерам.

Конечно, нехристь-допросчик мог обнаружить сапоги и в мешке, но вдруг и не обнаружил бы, не стал бы в нем рыться, вытряхивать все содержимое на землю, поглядев на обутики-лапти старого, совсем неимущего деда.

От каждой липы Николай Петрович взял всего по ленточке-другой лыка, снес его в укромное местечко-убежище за терновником и, вспоминая отцовскую науку, наставления, принялся плести лапти.

И какие невесомо-легонькие, какие ходкие получились они у Николая Петровича. Конечно, лапти полагалось бы сейчас, связав за обушины лыковыми же тесемками, повесить на чердаке в темном прохладном месте, чтоб они как следует пообвяли, высохли, и только после этого, может быть, даже на следующее лето, принарядиться в них, предварительно хорошенько размочив в студеной колодезной воде.

Но нынче на просушку-высушку лаптей времени у Николая Петровича не было, и он лишь ненадолго поставил их рядом, будто две уточки, в тени ивового куста, чтоб полюбоваться своей работой издалека. А пока они стояли, привыкая друг к дружке, знакомясь перед дальней совместной дорогой да прижимаясь боками, действительно как две дворовые уточки, которые впервые после долгой зимы вышли на волю в луга и выгоны, Николай Петрович стал плести из остатков лыка еще одну пару лаптей, впрок. Ведь больше ему такие

липы-спасительницы вряд ли где попадутся, а путь предстоит Николаю Петровичу неблизкий – и в одну сторону, до Киева, и в обратную, другую, до Малых Волошек, – так что надо запастись обуткой загодя.

За неимением хорошей конопляной веревочки Николай Петрович оторвал от бязевых портянок по ленточке, ссучил из них тугие бечевки и протянул в проушины лаптей. Потом он надел шерстяные носки, по-военному, по-строевому намотал портянки и примерил лапти, крепко, крест-накрест, перекинув бечевки вокруг голеней. Получилось все куда как хорошо и надежно! Пробуя лапти на ходу, Николай Петрович сделал два-три шага по травяному бездорожью и совсем уж остался доволен своей работой. Лапти нигде не жали, не терлись, обтягивали стопу упруго и мягко и сами просились в дорогу. Николай Петрович не стал больше мешкать, подхватил посошок и пошел выбирать на торную тропинку в украинское Волфино. Лапти, обвыкаясь к ходьбе, весело поскрипывали, утопали в траве, уже потерявшей росу и влагу. Никакого сожаления о пропавших сапогах у Николая Петровича не было. Пусть носит их злодей-нехристь, если только будет ему от этой носки какой-либо прок и удача. А то, что он нехристь, Николай Петрович ни капли не сомневался. Крещеный православный человек на такой разбой никогда не решится, душу свою не опоганит. А у этого душа заблудшая, нищая, и Николаю Петровичу надо будет в Киево-Печерской лавре помолиться за него, попросить у Бога проще-

ния за вольные и невольные его преступления. Может, и образумится...

На тропинке Николаю Петровичу стало идти еще легче, отмерять шаг за шагом уже совсем пообвыкшимися к дороге лаптями. К тому же ему подсоблял попутный, все больше набиравший тепла и земляного запаха ветер. Николай Петрович, подчиняясь ему, убыстрял и убыстрял шаг, уже зримо различая и волфинскую станцию, и шиферные крыши деревенских хат. И вдруг в очередной набег ветра он почувял, ощутил над собой какой-то неземной шелест воздушно-бестелесных, невидимых крыльев. Николай Петрович в изумлении остановился, прислушался повнимательней и точно, неоспоримо определил: это же пересек границу и вернулся к нему Ангел-Хранитель. И теперь он, даст Бог, уже не оставит Николая Петровича до самого Киева.

Вступая под его охрану, Николай Петрович троекратно перекрестился и только с этой минуты, лишенный и денег, и пропитания, и богатой, но в общем-то ненужной обуви, почувствовал себя подлинным паломником и странником. На душе у него стало так светло и чисто, как, может быть, не бывало никогда в жизни. Николай Петрович, еще раз и еще осеня себя крестным знаменем, поблагодарил ночного старца, который подвигнул его в эту дорогу и даровал ему здесь, на пустынной тропинке, такую чистоту и легкость души. Поблагодарил он и Марию Николаевну, снарядившую его в паломничество и странствие к святым местам. Николаю Петро-

вичу в ниспосланной ему радости захотелось, чтоб она сейчас увидела его среди поля в охранении Ангела и напутствовала в дальнейший путь добрым словом: «Иди с Богом!».

И Марья Николаевна действительно как бы явилась перед взором Николая Петровича край обочины, приветно помахала рукой, а потом произнесла и эти напутственно-молитвенные слова, и совсем другие, по-домашнему обеспокоенные, строгие:

– Не иди так ходко, ногу натрудишь.

Николай Петрович немедленно послушался Марью Николаевну, сбавил шаг: оно и верно, больная нога при таком рвении даже в удобных и мягких лапоточках даст о себе знать, болезненно занует в стопе и коленной чашечке.

В украинское Волфино Николай Петрович пришел только часам к одиннадцати. По дороге он еще несколько раз останавливался, и не столько затем, чтоб передохнуть, сколько затем, чтоб полюбоваться то недавно вспаханной землей, по которой бродили носато-потешные грачи, то хорошо перенесшими зиму кустистыми зелеными, кое-где подступавшими к самой тропинке; а однажды замер Николай Петрович на бугорке, опять услышав над собой шелест крыльев Ангела-Хранителя, и укрепился в вере, что все он делает правильно, по Божией милости и наставлению, иначе Ангел-Хранитель давно оставил бы его, впавшего в малодушие и грех.

Волфинская станция Николаю Петровичу очень понрави-

лась. Была она почти точно такой же, как и у них в районе. Так же росли вокруг нее в палисаднике фруктовые и ягодные деревья, нынче все в цвету и благоухании.

На перроне Николай Петрович обнаружил нескольких старушек, торговавших кто чем: жареными семечками (тыквенными и подсолнечными), солеными огурцами и помидорами, а одна, повязанная по груди и подолу белым фартуком, – домашней выпечки пирожками с картошкой и капустой. Николай Петрович остановился возле нее, намереваясь спросить, будет ли в ближайшее время какой поезд до станции Ворожба, но вдруг повременил с вопросом, не в силах оторвать взгляд от ее румянобоких, поджаристых пирожков. И ладно, был бы он чрезмерно голоден, изможден, а то ведь нет: в русском Волфине со стариком-страдальцем он вдоволь закусил и хлебом, и мясом и теперь мог бы легко терпеть до позднего обеда и полдника. Но томно-мягкие, недавно только вынутые старушкой из печи пирожки неотвратимо манили, притягивали его взгляд, будили воспоминания о доме. Марья Николаевна тоже часто затевала подобное печенье-жаренье картофельных и капустных пирожков из дрожжевого, высоко поднимающегося теста, зная особое пристрастие к ним Николая Петровича.

Он непроизвольно сунул руку в карман за кошельком-лягушкой, намереваясь достать оттуда деньги и закупить сразу, может быть, даже штук пять-шесть самых румяных пирожков, чтоб всласть и вдоволь насытиться ими. Но тут же и от-

дернул руку назад, вдруг вспомнив, что в кошельке у него всего сорок копеек, к тому же русских, здесь, на украинской стороне, бесполезных, хотя на них грозно обозначен Георгий Победоносец, почитаемый и на Украине.

Бабка-старушка и взгляд, и суетное движение Николая Петровича в карман за кошельком заметила и сразу догадалась, что в том кошельке нет у него никаких денег, ни украинских, ни русских, да и откуда им быть у столь древнего старика в допотопных лаптях. Она вынула из закутанной для сохранения тепла в чистое полотенце кастрюльки действительно самый румяный и пышный пирожок, на который и зарился Николай Петрович, и протянула его страннику:

– Попробуй на здоровье.

Отвергнуть это чистосердечное, божеское дарение Николай Петрович не посмел. Он взял из рук старушки аккуратно завернутый в четвертинку листочка из школьной тетрадки в линейку пирожок и поблагодарил догадливую сердобольную торговку:

– А что, и возьму!

Подаянием Николай Петрович прежде никогда не жил. Но теперь надо потихоньку привыкать и к подаянию, потому как одной только буханкой хлеба и кусочком сала, запрятанными в мешке, он не прокормится, не проживет. Пусть они сохраняются на самый крайний, совсем уж безвыходный случай, когда вдруг Николай Петрович опять окажется в чистом поле или в лесах-буераках, где нет ни единого живого челове-

ка, который смог бы выручить его. А в дороге, в неблизких еще странствиях всякое может произойти: и голод, и холод, и болезнь, – и ко всему Николай Петрович должен быть готов, уповая только на Господа Бога да Ангела-Хранителя. Дареный пирожок оказался редкостно вкусным. Отламывая его по самому малому кусочку и смакуя во рту, Николай Петрович не торопился со своим вопросом насчет Ворожбы, а беспечно грелся на полуденном солнышке да уважительно поглядывал на старушку, торговля у которой шла не так уж чтоб и бойко, но и не замирала окончательно. То покупали у нее по пирожку-другому железнодорожники, беспрестанно сновавшие по перрону, то мальчишки-велосипедисты, воробыными стайками вылетающие откуда-то из-за станции, то солдаты-пограничники, судя по всему, отлучившиеся за лакомыми пирожками без позволения командиров.

Доев пирожок и вдоволь, может быть, даже до самого вечера, им насытившись, Николай Петрович наконец подступил к старушке с насущным своим вопросом:

– До города Ворожбы поезда не предвидится?

– Что ты, соколик, – охотно откликнулась на его беспокойство старушка, как раз скучавшая без покупателей. – Нынче до самого вечера не жди, пока рабочий не пойдет.

Николай Петрович опечалился, заведовал, представив, что ему придется в праздном ожидании провести в Волфине целый день, а потом ехать, на ночь глядя, дальше, в незнакомый, с подозрительно цыганским каким-то названием го-

род Ворожбу, где еще неизвестно, как у него все заладится. Но старушка тут же принялась утешать Николая Петровича, успокаивать его, дала дельный, рассудительный совет:

– Да ты не расстраивайся, не переживай, иди вон к тому дому под ясенем, за станцию. Сережка часто в Ворожбу мотается, может, и подберет.

Николай Петрович тут же загорелся этой надеждой, еще раз поблагодарил старушку и за совет, и за пирожок, такой редкостно вкусный и сытный, и мимо вокзала по узенькой тропиночке заспешил к указанному дому.

Возле него действительно стояла горбоносая, крытая вылинявшим брезентом полуторка. За этот горбатый нос подобные машины теперь зовут, кажется, «Газелями».

За рулем, правда, незнаемого ему пока Сережки Николай Петрович не обнаружил и застыл в нерешительности, размышляя, как ему лучше сейчас поступить – то ли заглянуть в калитку, то ли дожидаться хозяина здесь, возле машины. И вдруг Николаю Петровичу показалось, что в кабинке кто-то есть, лежит, отдыхает на сиденье. Набравшись нахальства, он постучал посошком о дверцу и стал ожидать, когда Сережка пробудится и вступит с ним в переговоры. Но вместо человека в окошке вдруг появилась лохматая собачья морда, явно недовольная, что ее неурочно потревожили. Николай Петрович на всякий случай отшатнулся от машины, хотя пес, должно быть, охранник, особой злобы на него и не выказал. Он лишь обиженно зевнул и опять начал умащиваться

на мягком сиденье, определенно не учуяв в Николае Петровиче никакой опасности ни для себя, ни для хозяйской машины.

Собачье простодушное доверие Николаю Петровичу очень понравилось, и он решил во что бы то ни стало дожидаться Сережку, справедливо рассудив, что у такого беззлобного, дремотного пса и хозяин должен быть человеком покладистым, сговорчивым.

Ожидать в стороне возле штакетника на приспособленном под цветочную клумбу скате пришлось минут десять-пятнадцать. Но вот появился и хозяин, Сережка, молодой, лет двадцати семи, парень в куртке-ветровке. Николаю Петровичу он понравился и уверенной своей неторопливой походкой, и лицом, по-крестьянски простым и незлобивым. Надежды на то, что с этим парнем у него все сладится, еще больше укрепились, и он подступил к нему с просьбой:

– До Ворожбы не подбросишь, сынок?

– Отчего ж не подбросить, – легко и ожидаемо для Николая Петровича откликнулся Сережка, распахивая дверцу. – Только ехать придется в кузове, а то у меня вишь какой попутчик свирепый, он места своего уступать не любит.

– Это не беда, – обрадовался удаче Николай Петрович. – Можно и в кузове, весна на дворе, теплынь, не замерзну.

– Ну смотрите, – уважительно, на «вы», как и полагается в деревенской жизни, предупредил Сережка. – А мне без собаки никак нельзя: по ночам теперь на дорогах беспокойно.

– Да уж какой там спокой! – поддержал его Николай Петрович, готовясь залезать в кузов под брезент.

Но Сережка, взяв что-то необходимое в кабинке и потрепав по загривку так и не проснувшегося пса, попридержал его:

– Я за куревом на станцию сбегаю, подождите немного.

– Беги, беги, – уже как старого знакомого отпустил Сережку Николай Петрович, добровольно вызываясь на караул. – Я тут на солнышке погреюсь, присмотрю.

Сережка прихлопнул дверцу и все таким же неспешным, уверенным шагом направился к станции, чем еще больше глянулся Николаю Петровичу. Другой какой его ровесник действительно побежал бы, заторопился, а этот – нет, этот пошел шагом, понимая, что любое самое неотложное дело надо совершать не спеша, основательно и прочно, чтоб не смешить людей. Сразу видно – характер!

Николай Петрович, провожая Сережку завистливым взглядом (сам он в молодые годы был не таким, частенько и суетился, и поспешал, Марье Николаевне всегда приходилось его окорачивать), опять присел на резиновый скат и настроился на терпеливое недолгое ожидание. Солнце уже пригревало полуденно, жарко, поднимаясь прямо над головой Николая Петровича в самый зенит. Он прислонился мешком к штакетнику, блаженно вытянул все-таки порядком уставшие после пешего перехода ноги и незаметно для себя стал задремывать, напрочь забыв о карауле и присмот-

ре за машиною. Ему даже начало что-то грезиться, сниться, какая-то мешанина и путаница, неразбериха, как это часто и бывает от чрезмерного переутомления: живые и давно умершие, забытые люди, которых Николай Петрович никак не узнавал; потом река Волошка, еще зимняя, покрытая льдом и занесенная снегом; потом поезд, с грохотом несущийся мимо Николая Петровича; потом еще что-то, совсем уж неопознаваемое, хотя вроде бы и не страшное...

И вдруг Николай Петрович в единое мгновение пробудился, настороженно вскинул голову, словно в ожидании какого-то тайного звука и знака, который непременно должен был сейчас донестись с прозрачно-голубого весеннего неба. И этот звук действительно тут же настиг Николая Петровича, вначале едва слышимый и едва обозначенный, а потом вполне явственный, хотя и пришедший издалека, из далекого, нездешнего неба. На той стороне, в русском Волфине, звонил церковный колокол. В первые минуты Николай Петрович подумал было, что колокол скликает жителей русского Волфина на обеденную службу, но, прислушавшись повнимательней, он безошибочно определил, что перезвон этот совсем иной, не благостный, не скликающий на Божественную литургию, а печальный и заупокойный, извещающий всех окрест о человеческой смерти.

Николай Петрович торопливо встал на ноги, снял фуражку и, повернувшись на удары колокола, уже сложил было пальцы в щепотку, чтоб осенить себя крестным знамени-

ем, но вдруг колокол ударил и у него за спиной, в украинском Волфине, на прячущейся где-то в садах на возвышении церкви. В какое-то мгновение удары колоколов на обеих церквях слились, соединились в один общий набат, извещающая, что у русских и украинских волфинцев случилось одно общее горе, – и Николай Петрович сразу догадался, какое. На лавочке в русском Волфине под вишнею, усыпанной весенне-белым, кипенным цветением, умер-таки непреклонный старик-страдалец, не дожив даже до вечера, как обещал то Николаю Петровичу. Не пожелал он больше терпеть мучений, покаянных своих мыслей, и, может, в чем-то виной тут и Николай Петрович, последний человек-ровесник, с кем старику довелось поговорить по душам перед смертью, выпить последнюю в своей жизни фронтовую рюмку водки.

Николай Петрович, словно вклиниваясь в перезвоны двух породнившихся единым горем колоколов, помолился вначале в сторону русской церкви, а потом в сторону украинской, презрев запретительные, произнесенные уже в неведении слова старика о том, что молиться за него по смерти не надо. Нет уж, тут Николай Петрович никак со стариком не согласен: молиться за любого человека надо и по жизни, и по смерти...

За этим молением и застал его Сережка. Он молча переждал в сторонке возле машины и, лишь когда Николай Петрович надел фуражку, негромко, в разрыве колокольных ударов, известил его о том, в чем Николай Петрович уже и не

сомневался:

– Дед Матрос умер.

– Я знаю, – удивил Сережку Николай Петрович и, наверное, непозволительно для попутчика, взятого в дорогу из сострадания, попросил: – Может, поедем?

– Поедем, – быстро согласился Сережка, словно спасаясь от колокольных, соединившихся прямо над его домом ударов, которые, совсем уже не вмоготу, рвали сердце.

Их не выдержал даже послушный и привычный к любым дорожным невзгодам пес. Он вдруг поднялся на сиденье, ударил передними лапами о стекло и заскулил так жалобно и так по-человечески тоскливо, что Сережка в тревоге оглянулся на него и вздохнул:

– Чует!

– Конечно, чует, – понял тревогу Сережки Николай Петрович. – Живое все-таки существо.

Надо было ехать, и как можно скорее. Колокольных этих ударов и раскатов не переждешь, они будут звучать еще долго, с короткими перерывами, собирая все новых и новых слушателей. А потом, через час-полтора, повторятся опять, наполненные еще большим страданием и печалью. Николай Петрович, правда, нисколько их не боялся и не бежал от них, понимая, что в его возрасте от извещающе-поминального этого звона все равно не убежишь, не схоронишься где-либо в укромном месте. Но уехать ему хотелось сию же минуту, немедленно и по причине великой и неотложной – ведь там,

впереди, в Киеве, в святой и святительной лавре, ждут его великие труды и свершения, тяжкие неуклонные молитвы, к которым душа Николая Петровича, наполнившись этими перезвонами, словно последней каплей, теперь окончательно созрела и приготовилась...

– Едем! – принял командное решение Сережка, почувствовав, что поспешность попутчика не праздная, не обыденная.

Николай Петрович долго себя ждать не заставил, широко шагнул к заднему узенькому борту и вдруг в обиде застыл перед ним. Борт был хоть и узенький, но поднятый над землей очень высоко. Николай Петрович при стариковской своей слабости взобраться в кузов без постороннего участия никак не сможет. Сережка, заметив эту его беспомощность, немедленно пришел на выручку. Он услужливо откинул борт назад, и Николай Петрович, к своему удивлению, обнаружил, что металлическая скоба, приваренная сверху борта и служившая до этого ручкой, теперь, оказавшись внизу, превратилась в ступеньку. Николай Петрович, изумляясь такой удачной придумке, оперся на скобу здоровой ногой, чтоб в одно движение, как делал в совсем еще, казалось бы, недавние годы, взметнуться в кузов, где в темной глубине возле самой кабинки его ждала притягательно широкая лавочка, но и тут почувствовал, что сделать этого самостоятельно не может, что те годы безвозвратно уже прошли. Он оглянулся на Сережку и, нисколько не скрывая своей немощи, попро-

сил:

– Подсоби маленько.

Сереежа опять с готовностью откликнулся на его просьбу, помог дотянуться коленом левой, простреленной ноги до кузова, осторожно подтолкнул сзади, а дальше Николай Петрович уже добрался своим ходом.

На лавочке он приспособился в самом уголке, возле борта, чтоб можно было при тряске придерживатьея и за кабину, и за первую в ряду каркасную стойку, на которой держался в натяге брезент.

Сереежа негромко просигнализировал, давая Николаю Петровичу знать, что он тоже готов в дорогу. От пробной, не разгонистой еще работы двигателя машина прерывисто задрожала, сотрясаясь всем металлическим телом, но потом выровнялась, обрела необходимую устойчивость и стала с резкими разворотами и подвижками выбираться из узенького проулочка на торную дорогу.

Колокольные перезвоны, то затухая, то возобновляясь с новой силой, потянулись вслед за ней в широкую деревенскую улицу, в ее сады и огороды, где роилась весенняя полевая жизнь: кто-то еще пахал на лошадиной и тракторной тяге приусадебные клинышки, а кто-то уже сажал на них картошку в две и даже в три лопаты, кто-то перекапывал в низах грядки. И столько в этой работе было торжества и неодолимой потребности жить, что колокола не посмели остановить ее ни на минуту, а лишь укрепляли у людей веру, что она

спасительней и необходимей смерти.

Николай Петрович тоже с этим согласился и, совсем от-
решившись от умершего и не похороненного еще в русском
Волфине старика-матроса, стал думать о Марье Николаев-
не, волноваться за нее – как там она справляется в одиночку
с пахотой, с посадкой картошки, с грядками. И так увлекся
этими обыденными мыслями, что даже пропустил мгнове-
ние, когда колокола то ли окончательно затихли, то ли все же
отстали от накатисто бегущей уже по проселочному асфаль-
ту машины.

Николай Петрович, настраиваясь на долгую дорогу, по-
сильнее вжался мешком в уголок кузова, прислонил голову
к упругому брезенту и не заметил, как сладкая дрема после
трех, считай, совсем бессонных ночей и стольких пережива-
ний начинает неодолимо овладевать им. Николай Петрович
легко и безропотно поддался ей, решив, что оно и вправду
неплохо бы поспать под ровное урчание мотора, теперь уже
набравшего самые большие обороты, чтоб после, в остатней
дороге до Киева чувствовать себя бодрым и свежим.

И вдруг ему почудилось, что по левой стороне обочины в
песчаном мареве, поднимаемом машиной, шагает его пехот-
ный фронтовой взвод. Ведет взвод неутомимый, туго затя-
нутый командирскими ремнями Сергачев. Машина несется
неостановимо быстро, быть может, даже на предельной ско-
рости, но взвод не отстает, движется с ней почти вровень,
причем какой-то необычный, смешанный взвод. В нем мель-

кают то лица солдат, с которыми Николай Петрович воевал еще в первые, начальные дни войны (вот в самой середине виден грузный Маматов, а вот в замыкающей шеренге конопатая Соня-санинструктор с тяжелой для нее медицинской сумкой через плечо), то лица совсем других бойцов-красноармейцев, друзей его и товарищей по безотрадному отступлению сорок второго года на Воронеж и Сталинград, то молоденькие безусые солдатики, только-только призванные в строй из освобожденных от немцев территорий под Орлом и Курском. Два-три человека попались и вовсе не воевавшие вместе с Николаем Петровичем, может быть, даже и не пехотинцы, а из других каких родов войск – танкисты или летчики. С ними он когда-то лежал в медсанбатах и госпиталях, коротал там, закованный в бинты и гипс, тыловые дни и ночи. Но теперь эти танкисты и летчики, бывшие госпитальные побратимы Николая Петровича, шагали в одном строю с Маматовым и Соней-санинструктором, во всем подчиняясь пехотному командиру взвода Сергачеву.

По трудному, тяжелому шагу пехотинцев чувствовалось, что взвод в дороге уже давно, с самого раннего утра, а возможно, даже с ночи. Сергачев ведет его ускоренным маршем, позволяя лишь коротенькие, пятнадцатиминутные передышки, чтоб перемотать портянки, подтянуть обвисшие вещмешки и скатки и двинуться дальше, потому что впереди взвод ждет смертельный бой, от которого зависит исход всего затеянного на неохватном пространстве сражения с вра-

ГОМ.

Глядя на фронтовых друзей-товарищей, то исчезающих, то вновь появляющихся в дорожном мареве, Николай Петрович вдруг устыдился своего невнимания к ним. Как же это так случилось, что он едет в машине под туго натянутым брезентом, укрывающим его и от солнца, и от возможного дождя, а ребята идут пешим строем по пыльной обочинной дороге, к тому же не налегке, с одной только палочкой-посошком в руках, а при полной выкладке, с винтовками, автоматами и прочим военным снаряжением. Он начал было стучать по кабинке, чтоб Сережка немедленно остановился и подобрал пехотинцев, ведь едет он порожняком и, скорее всего, не по очень важному делу. Но взвод вдруг по команде Сергачева свернул на проселочную, разбитую телегами дорогу и стал быстро удаляться по направлению к какой-то едва видимой на горизонте деревеньке, и никто в строю (даже всегда бдительный Сергачев) не заметил, что один, быть может, самый опытный и необходимый в предстоящем бою красноармеец отстал, заблудился и мчится теперь на случайной попутной машине совсем в другую сторону, где никакого сражения не предвидится... Причем мчится не в одиночестве, а под присмотром Ангела-Хранителя, который не даст его в обиду, отведет любую беду и опасность. Хотя какая может быть опасность в такой надежной, не раз испытанной на асфальтных и проселочных дорогах машине, да еще при таком надежном шофере. Лучше бы Ангел-Хранитель оставил Ни-

колая Петровича на его попечение, а сам улетел вслед за пехотным взводом, уже, возможно, вступившим в бой. Там он необходимей и нужней, там ребят действительно подстерегает смертельная беда на каждом шагу.

Но Ангел-Хранитель увещаний Николая Петровича не послушался, от машины не отставал ни на взмах крыла, невидимо летел рядом, призванный поклонной молитвою Николая Петровича, которую он нарушить не смел.

... Пробудился Николай Петрович лишь на близком подъезде к Ворожке, когда уже стали слышны на станции бойкие гудки маневровых тепловозов, громыхание проносающихся в сквозном, безостановочном движении товарных составов, громогласные объявления и команды диспетчера, недовольного работой составителей поездов,

Взвод, причудившийся Николаю Петровичу на волфинской дороге, совсем пропал, исчез из виду; навсегда отстал и колокольный перезвон; солнце, теперь уже клонящееся к закату, светило вполсилы, словно давая отдохнуть и земле, и деревьям, и людям от весеннего пробуждения; всюду растекалась предвечерняя прохлада и тишина; в глубине цветущих садов уже прочно поселились сумерки, отчего бело-снежные деревья проступили еще ярче и отчетливей, а цветочные запахи стали пронзительней и резче. Ангел-Хранитель и наяву был рядом, тревожился над брезентом воздушными своими крыльями, изредка лишь отдаляясь в эти сады и сумерки, где у него, наверное, были еще какие-то неотлож-

ные дела.

Сережка затормозил машину в двух шагах от станции, не поленился, вышел из кабинки и, интересуясь, как Николаю Петровичу ехалось-перемогалось в кузове, опять откинул задний борт.

– Ничего, жив-здоров, – весело откликнулся Николай Петрович, пересиливая и все свои недавние фронтовые видения, и тоску по дому.

С помощью Сережки он довольно удачно выбрался на землю, ничем не потревожив больную ногу. В груди, правда, в дыхании у него появился какой-то подозрительный хрип и перепад, но Николай Петрович не придал им особого значения, решив, что все это, наверное, от долгого сидения в машине и застоя. По такому теплу и солнцу охладиться он вроде бы нигде не мог, вот разве что самую малость на волфинской тропинке, когда шел к липам-спасительницам босиком. Но даст Бог, все обойдется, теперь Николай Петрович в хорошей, стоящей обувке, в лаптях, которые уже и привяли, и впору облеглись по ноге.

Сережка, между тем, протянул ему руку для прощания:

– Мне пора, бывайте!

Николай Петрович ответно пожал Сережкину натруженную ладонь и вдруг засовестился:

– Ты не сердчай, сынок, но отблагодарить тебя нечем. С деньгами у меня вышла оплошка.

– Да какие там деньги! – снял с души Николая Петровича

маету Сережка.

Привыкая к земле, Николай Петрович немного постоял на площади, а потом поспешно направился к вокзалу, очень довольный тем, что и по асфальту в лаптях идти мягко и необременительно, они за каждым шагом пружинят, скрадывают его твердость.

На вокзале Николаю Петровичу повезло. Еще в дверях ему попался навстречу дежурный в красной, туго натянутой на обруч фуражке. Николай Петрович, повинившись за беспокойство, сразу приступил к нему с вопросом насчет дальнейшего движения к Киеву. Дежурный оказался человеком стоворчивым, от настойчивых домоганий Николая Петровича не отмахнулся, разъяснил все вразумительно и доходчиво, хотя и посмотрел на его лапти и заплечный мешок с заметным подозрением.

– Прямой поезд не скоро будет, – стал растолковывать он Николаю Петровичу. – Вам лучше на попутных, рабочих добираться.

– Это ничего, что на рабочих, – ничуть не огорчился Николай Петрович. – Лишь бы не ждать.

Дежурный взглянул на электронные часы, неостановимо мелькавшие зеленоватыми цифирками над дверью, и поторопил Николая Петровича:

– Сейчас щорский пойдет. Доедете на нем до Конотопа или до Бахмача, а там на Киев уже электрички бегают.

Николай Петрович больше не посмел задерживать дежур-

ного ни на минуту, поблагодарил его и кинулся к путям искать рабочий этот, идущий до города Щорса поезд, думая теперь лишь о том, как бы половчей упросить проводницу, чтоб взяла его хоть на подножку без билета и денег.

Коротенький, всего в пять-шесть вагонов, поезд Николай Петрович обнаружил на отдаленных путях, как бы даже немного в тупике. Пассажиры в ожидании скорого отправления в нем уже расселись по местам. Но всегда бдительных проводников что-то видать не было. То ли они, закончив посадку, хлопотали теперь внутри вагонов, в узеньких своих, похожих на каморки служебных купе, то ли их бдительность была здесь ни к чему.

Николай Петрович, выбрав для себя самый неприметный, хвостовой вагон, беспрепятственно поднялся по крутым железным ступенькам в тамбур, где поначалу и вознамерился было ехать до Конотопа или Бахмача, учитывая безбилетное свое, обманное состояние. Но потом он огляделся и, не заметив никакой преграды ни возле служебного купе, ни где-нибудь в отдалении, все-таки проник в теплую утробу вагона, который оказался плацкартным, но приспособленным под общий. Народу в вагоне было немного, всего по два-три человека в купе, а некоторые загородки так и вовсе пустовали. При таком просторном положении Николаю Петровичу заманчиво было занять одиночное, излюбленное им в поездах место на боковом сиденье, чтоб никого не смущать подорожным своим видом – диковинными лаптями и холщовым

мешком, с каким теперь никто не путешествует, и в тишине и покое доехать до Конотопа, а лучше до Бахмача, который, по разъяснению дежурного, на один перегон ближе к Киеву. Но, хорошенько поразмыслив, Николай Петрович свернул в одно из пустующих, действительно похожих на загон-загородку купе и забился там в самый угол. Сидеть на проходе ему никак нельзя: от пассажиров он будет находиться, конечно, в отдалении, но проводница, которая рано или поздно в вагоне обнаружится, тут же и наткнется на него, потребует билет, и еще неизвестно, чем для Николая Петровича закончатся с ней объяснения. А в уголке, затененном верхней плацкартной полкой, он не так заметен (особенно если подсядут еще какие пассажиры), глядишь, проводница его и не окликнет.

Ждать отхода поезда Николаю Петровичу пришлось недолго. Не успел он как следует примоститься в угловом схороне, запрятать подальше под сиденье лапотные свои ноги, а поезд уже протяжно гукнул, стронулся с места и стал медленно отчаливать от вокзала. Дикторша с малым опозданием, где-то замешкавшись, объявила по радио ему вдогонку: «Рабочий поезд Ворожба – Щорс отправляется с третьего пути».

Николай Петрович совсем воодушевился, беспечно высвободил из-под сиденья порядком онемевшие ноги, и тут его все-таки обнаружила проводница, грузная пожилая женщина в темно-синей, еще советского покроя шинели. Все восторги и воодушевления мгновенно отлетели от Николая

Петровича, он опять подобрал ноги под сиденье, весь напрягся и приготовился к самому худшему, может быть, даже к появлению милиции и высадке его на первой попавшейся станции. Но проводница, мельком глянув на котомку и лапти Николая Петровича, которые ему так и не удалось скрыть и запрятать, быстро во всем разобралась и лишь со вздохом спросила:

– Билета, конечно, нет?!

– Нет, голубка, нет, – чистосердечно признался Николай Петрович, во всем отдаваясь на ее милость.

– Ехать-то куда? – на минуту задержалась возле него проводница.

– Да недалече мне, – заволновался, предчувствуя удачу, Николай Петрович. – До Бахмача всего.

И проводница сжалилась над ним. Осуждающе покачав головой, она опять вздохнула:

– Горе мне с вами. – И пошла дальше, не заикнувшись ни о штрафе, ни о каком-либо ином железнодорожном наказании, которого Николай Петрович конечно же заслуживал.

На душе у него оттаяло, потеплело, хотя дыхание от пережитой тревоги и нарушилось, в левой стороне груди слышались хрипы, а привычная боль, всегда их сопровождающая, побежала под лопатку. Надо было срочно выпить таблетку. Николай Петрович нырнул рукой в карман за металлической трубочкой, поспешно открыл ее, но она оказалась пустой – все таблетки неведомо когда и закончились. При-

шлось снимать котомку, где в целлофановом мешочке хранились запасные лекарства. Мешочек Николай Петрович добыл, но вдруг обнаружил, что у него нет воды, чтоб таблетку запить. Просить же воды у соседей, которые хоть и не густо, но все-таки заполнили купе, и тем более у проводницы, он не решился. Едет постыдно, «зайцем», без всякого основания и права, и еще докучает людям неурочными просьбами и требованиями. Он пересилил боль, которая, к счастью, быстро отступила, притихла и почти не мешала Николаю Петровичу смотреть в окошко.

Но вместо нее вдруг пришла боль совсем другая, душевная. Николай Петрович с тоской и отчаянием подумал о том, что вот едет он в Киево-Печерскую лавру на богомолье, а никаких денег, никаких средств у него нет на приобретение самой обыкновенной восковой свечи, без которой паломнику и богомольцу появляться в церквах и пещерах никак нельзя. Ведь без такой свечи, без ее трепетного огня ни одна его молитва, ни одно его покаяние приняты не будут.

С горьким этим отчаянием и обидой Николай Петрович и вышел из поезда на станции Бахмач. В громадный узловой вокзал с двумя островерхими шпилями на крыше он сразу не пошел, а присел на лавочке в небольшом скверике перед еще не заполненным водой фонтаном, где тешились, переплетаясь шеями, два белых гипсовых лебедя. Прежде чем пускаться в дальнейшую дорогу, Николай Петрович решил перекусить кусочком хлеба да наконец принять таблетку, чтоб пре-

дупредить возможный приступ, который неожиданно-негаданно может настичь его в самый неподходящий момент, когда надо будет садиться в поезд. Николай Петрович развязал котомку, достал оттуда и хлебушек, и целлофановый мешочек с лекарствами, и кружку, заметив, что неподалеку от фонтана бьется над гранитной ложбинкой струйка воды, специально предназначенная для питья. Не побоявшись оставить без присмотра на лавочке свой лоскутик-самобранку, он благополучно сходил туда, а когда вернулся назад, то вдруг явственно услышал над фонтаном, над воркующими лебедями трепетание ангельских незримых крыльев. Николай Петрович помедлил с трапезой, стал прислушиваться к этому трепетанию, стал радоваться, что Божией милостью он не оставлен без внимания и присмотра, что Ангел-Хранитель опять догнал его в дороге.

Хорошо было Николаю Петровичу под его доглядом и охраной сидеть на лавочке, трапезничать хлебушком с водой, вдоволь насыщаться ими, хорошо было думать, что до Киева осталось совсем уже немного пути, вот только бы достать самую малость денег на восковую, трепетно горящую свечу.

И вдруг словно кто-то шепнул ему на ухо: «Да что ж тут думать, что ж сомневаться – среди людей живешь, и от людей же будет тебе помощь и благотворение!» Николай Петрович огляделся вокруг себя и счастливо обнаружил то, что ему и было сейчас необходимо. Рядом с лавочкой стояла невысо-

кая жестяная коробочка, кем-то по ненужности здесь оставленная. Николай Петрович подобрал ее, тщательно вымыл под стружкой воды, проколол по бокам шильцем, которое у него имелось на перочинном ножике, две дырочки и вставил в них петель веревочку, тоже ко времени обнаруженную у подножья фонтана. Получилось как нельзя складно: широкая петелька легко и свободно надевалась через голову на шею. Теперь оставалось только сделать на обертке коробочки соответствующую надпись, чтоб любому-каждому человеку было понятно, зачем это она висит у древнего старика на груди. Но и с этой задачей Николай Петрович куда как легко справился. Собрав в мешок все свои пожитки, он заторопился в вокзал, немного поблукал там по его переходам и закоулкам и вскоре обнаружил искомое: рядом с парикмахерской и умывальной комнатой располагалось за добротной дубовой дверью почтовое отделение. Николай Петрович проник туда, вежливо поздоровался с почтаркой, которая томилась и скучала за отсутствием работы. В ее комнатуске-каморке, считай, никакого народу не было. Возле стенда с бланками поздравительных телеграмм переминались с ноги на ногу лишь две девчущки-подростка, сразу видно, забредшие сюда случайно, праздно. На появление Николая Петровича почтарка встрепенулась, начала с надеждой следить за ним, не намерен ли он дать телеграмму или отправить заказное срочное письмо. Николаю Петровичу даже стало неудобно обманывать ее, и он действительно едва не принялся состав-

лять телеграмму и письмо в Малые Волошки Марье Николаевне. Но потом вовремя опамятовался: во-первых, денег у него на такую телеграмму или на коротенькое подорожное письмо совершенно не имелось, а во-вторых, коль он не дал известия Марье Николаевне из Курска, там теперь чего уж, пусть потерпит до скорого его возвращения.

Прячась по-за спинами девчушек, Николай Петрович занял место за специальным почтовым столиком и взял в ладонь шариковую пластмассовую ручку, привязанную для верности шпагатом к столешнице. Писать ею было несподручно, коротенький шпагат не давал никакого разгона, но все-таки Николай Петрович помалу приспособился и вывел большими, издалека видимыми буквами на заветной своей коробочке честные просительные слова: **НА БОЖИЙ ХРАМ И ПОМИНОВЕНИЕ.**

Удачно придуманной этой, изобретенной надписью он остался очень доволен, поглядел на нее как бы со стороны, на отлете руки, но сразу надевать коробочку на шею повременил, боясь смутить почтарку, которая продолжала из-за перегородки строго наблюдать за ним. Николай Петрович вернул ручку на прежнее место, предварительно высоко поднял ее над столом, словно призывая и почтарку, и шушукающихся о каких-то своих тайнах девчушек в свидетели, что он на чужое, общественное добро никогда не позарится, будь оно для надежности привязанное за столешницу, запертое или лежащее совершенно вольно и бесприглядно. Почтарка ра-

чительное поведение Николая Петровича одобрила, перестала так придирчиво следить за ним, хотя, понятно, и разочаровалась, что ни телеграммы, ни письма он не отправил.

Повременил Николай Петрович надевать коробочку на шею и за дверью. Прежде он решил все же разведать насчет киевских поездов и электричек. Разведка эта завершилась быстро, всего в несколько минут, но особо его не обнадежила. Для начала Николай Петрович тщательно изучил вывешенное на стене расписание, потом расспросил еще и у знающих людей в очередях возле касс. И вышло вот что: поездов на Киев шло великое множество – и московских, и каких-то иных, с еще более дальних мест, но все они были скорыми, а то и экспрессами, которые в Бахмаче даже не останавливались, и зариться на них безбилетному Николаю Петровичу было нечего. Рабочий же поезд-электричка из Хутора-Михайловского шел только ранним утром. На него Николай Петрович и стал метить.

Впереди у него была целая ночь, которую предстояло коротать в бессонном бдении. Тут самое время наступило для Николая Петровича идти с коробочкой за милостыней и подаванием на Божий храм и поминовение.

Тайно помолясь в уголке за автоматическими камерами хранения, он наконец надел ее на шею и шагнул в высоченный (куда твой Курск!) зал ожидания с четырьмя прямо-таки царскими люстрами под потолком.

Стараясь не очень греметь по каменному полу посошком,

Николай Петрович подошел к стайке говорливых женщин с подорожными сумками, снял фуражку, троекратно перекрестился и не столько, казалось, попросил у них подаяния, сколько объяснил, зачем это он стоит здесь с обнаженной седой головой:

– На Божий храм и поминовение собираю. Не откажите по силе возможности.

Женщины сразу примолкли, подняли на Николая Петровича, на его лапти и заплечный холщовый мешок недоверчиво-вопрошающие взгляды, но потом быстро переменили их, обнаружив на груди просителя-старика жестяную коробочку с крупной надписью синими химическими чернилами. Одна за другой женщины потянулись к ней, стали опускать туда звонко звякавшие монетки, заметно утяжеляя ее и натягивая веревочку.

– Храни вас Бог, – поблагодарил каждую из них Николай Петрович, а сам все смотрел и смотрел на их руки, грубые, узловатые от неустанной ежедневной работы, и чувствовал перед этими крестьянскими женщинами какую-то необъяснимую свою вину...

Потом он стал переходить от одних пассажиров к другим, от кресла к креслу, несуетно перекрестился и говорил всюду одно и то же:

– Не откажите по силе возможности.

И ему не отказывали. Бросали в коробочку схожую с русской по названию и размерам мелочь – копейки. Отлича-

лись они лишь цветом, каким-то темно-коричневым с зеленоватым отливом, да колючим трезубцем на обратной стороне. Было это немного чудно и непривычно: с лицевой стороны русская копейка, а с тыльной – украинский щетинистый трезубец, так напугавший Николая Петровича на границе. Но вскоре он приноровился к этому сочетанию и уже не находил в нем ничего обманного: коль мирятся они, соседствуют на монетах, то с годами смирятся и в живой жизни.

Случались, понятно, и такие пассажиры, которые темно-коричневых копеек в коробочку не бросали, то ли по своей бедности, то ли по скупости характера или какому подозрению к Николаю Петровичу, к его хотя и опрятному, но все же странному виду. Он на них не обижался, легко прощал им и скупость, и подозрения, говорил точно с таким же участием и благодарением, как и дающим:

– Храни вас Бог!

Действительно, таить обиду тут не приходилось. Мало ли какие у людей обстоятельства, мало ли чего у них на душе?! Может, к примеру, они не верующие, не признающие ни Бога, ни Божьего храма. Бывают ведь, наверное, пока и такие, хотя как жить без Бога в душе и в сердце, Николай Петрович не представлял – это уж совсем темно и непроглядно.

Но вскоре он обнаружил еще одну причину, по которой не каждый пассажир бросал ему в жестяную коробочку мелочь. Между рядами, тоже прося подаяние, сновали-носились двое чумазных цыганят, мальчик и девочка лет се-

ми-восьми, проворные соперники Николая Петровича. Часто опережая его, они, словно из-под земли, возникали напротив мирно отдыхающих женщин и мужчин, теребили их за телогрейки и куртки и тянули вперед худые цепкие ладошки. Подавали цыганятам намного реже, чем Николаю Петровичу, но все же подавали, и не только деньгами, а и всякой снедью: хлебом, купленными в буфете пирожками, пасхальными еще крашенками, мочеными яблоками. Цыганята ни от чего не отказывались, поспешно брали дарение и тут же несли его к женщинам-цыганкам, которые расположились в дальнем углу зала за газетным киоском настоящим кочевым табором.

Дабы не вводить в смущение пассажиров, одаривших чем-либо цыганят, Николай Петрович старался перед ними не останавливаться, обходил стороной, хорошо понимая, что, каким щедрым и праведным человек ни будь, а все ж таки не Иисус Христос он и всех страждущих одним-единственным хлебом не накормит.

Когда коробочка наполнилась почти доверху, Николай Петрович по широкому, разделяющему зал на две половины проходу пробрался к стационарному буфету, который, несмотря на довольно позднее уже время, все еще работал, завлекательно манил к себе переполненными всякой снедью витринами. Купить что-либо в буфете, пирожок какой или булочку с ноздреватым голландским сыром, Николай Петрович не посмел, не зная, позволительно ли ему тратить на се-

бя, на свое пропитание деньги, собранные совсем для других нужд – на Божий храм Киево-Печерской лавры да на поминовение, не будет ли в этом какого неискупимого греха. Николай Петрович в который уж раз посетовал, что нет сейчас рядом с ним Марьи Николаевны. Она во всех церковных делах разбирается не хуже любого причетника, диакона, быстро бы надоумила Николая Петровича, что ему позволительно делать, а чего нельзя ни в коем случае. Но Марьи Николаевны не было, она теперь в Малых Волошках, небось, лежит уже на печи, отдыхает после работы (Мишка ей огород к этому дню как-нибудь да вспахал, и она с утра до ночи сажала в одиночку картошку).

Погоревав еще немного о разлуке с Марьей Николаевной, Николай Петрович решил больше не докучать нищенским своим видом строгой, в голубеньком фартуке, продавщице и отошел в сторону, к пустующему креслу под высоким, напоминающим настоящее лесное дерево фикусом. Там, в тени его широких вечнозеленых листьев можно было, никому не доставляя беспокойства, час-другой подремать, набираясь сил для последнего перегона к Киеву. Боясь, что заветное это местечко у него кто-нибудь перехватит, Николай Петрович сделал было к нему суетно-поспешный шаг, и тут его вдруг окликнул сзади зычный мужской голос:

– Подойди сюда, старик!

Николай Петрович оглянулся и увидел возле высокого буфетного столика, за которым можно было пить-есть только

стоя, рыжеусого, заросшего недельною щетиною цыгана, а рядом с ним тех двух цыганят, что соперничали с Николаем Петровичем в сборе подаяния.

Ничего угрожающего в словах цыгана Николай Петрович вроде бы не расслышал и поэтому безбоязненно подошел к столику.

– Чего тебе, добрый человек? – с полным доверием спросил он.

Цыган ответил не сразу, долго и, похоже, по складам читал надпись на коробочке Николая Петровича, все ж таки приводя его в немалое смущение. Николай Петрович вдруг подумал, что, может быть, это цыганята нажаловались на него, мол, вредный старик помешал им в сборах: он взрослый, хитрый, за каждым разом крестится и кланяется, и люди, тетки и дядьки, подают ему намного чаще, чем им, маленьким цыганятам, которые и креститься так пока не умеют, и коробочек на шеях не носят. Мать теперь их за это ругает и даже грозитя побить, а они ни в чем не виноваты, они просили, как всегда, неотвязно и жалобно, но старик их все время опережал. Пусть теперь отец его прогонит.

С сочувствием глядя на притихших цыганят, Николай Петрович приготовился к подобному исходу разговора с цыганом, который не может за детей не заступиться. Цыгане – народ гордый, обидчивый. Да и как им не быть обидчивыми, когда всякий и каждый норовит упрекнуть их за кочевую, ни на что не похожую жизнь, за попрошайничество, за

обманное гадание на картах, которое редко когда сбывается. Тут хочешь не хочешь, а ожесточишься, хотя все это совсем не так и упрекать цыган не за что. Может, им просто на роду написано – жить вольной кочевой жизнью, добывать себе пропитание Божьей милостыней да гаданием на картах, которое доподлинно сбывается, надо только верить и ждать своего часа. А кому завидна цыганская жизнь, пусть испытает ее сам...

Но цыган, к радости Николая Петровича, не ожесточился. Прочитав наконец на коробочке надпись, он вдруг достал из кармана продолговатую бледно-коричневую бумажку, на которой был изображен пожилой какой-то, вислоусый мужчина в высокой шапке, отороченной по окружью мехом, и протянул ее Николаю Петровичу:

– Помолись за цыган!

Маленькие цыганята с изумлением посмотрели на отца, так щедро одарившего старика сразу двумя гривнами, может быть, ими же и собранными по копейкам за целый день снования по вокзалу, но ничего сказать не посмели. Они лишь потеснее прижались друг к другу да несколько раз сверкнули на Николая Петровича сливово-черными, огненными какими-то глазами. Он устыдился этих набрякших слезами глаз и решил было вернуть бумажку назад цыгану, но тот попридержал его руку и произнес с неожиданной твердостью в голосе:

– Отдельно помолись!

– Хорошо, помолюсь, – пообещал Николай Петрович, хотя до конца и не понял, почему это за цыган надо молиться отдельно.

Он сложил бумажку вдвое, потом еще вдвое и на глазах у цыгана и цыганят бросил ее в коробочку, чтоб они, не дай Бог, не заподозрили, что он припрячет столь большие деньги для каких-нибудь своих нужд и потребностей. Правда, ему хотелось рассмотреть бумажку повнимательней, и особенно мужчину с вислыми казацкими усами, разузнать, кто он и за какие заслуги помещен на деньгах. Цыган заметил любопытство Николая Петровича и все вразумительно ему разъяснил:

– Это Ярослав Мудрый. Князь! За него тоже помолись. Он нас любил.

Николай Петрович пообещал помолиться и за князя, похристиански помянуть его в Киево-Печерской лавре, но и на этот раз как следует цыгана не понял: кого же это «всех нас» любил Ярослав Мудрый – всех людей или только цыганское кочевое племя? Расспрашивать же он не решился, да, может, цыган и сам этого не знал, а сказал так лишь потому, что очень уж ему хотелось, чтоб и в старинные, незапамятные времена кто-то любил его беспечных и беззащитных сородичей, тем более князь, которого не зря, наверное, прозвали Мудрым.

Теперь Николаю Петровичу можно было уходить в закуток под фикус, где примеченное им местечко все еще оста-

валось незанятым. Но цыган опять попрिдержал его и вдруг громко и требовательно позвал продавщицу:

– Налей-ка нам по стакану хорошего вина!

Продавщица сразу встрепенулась, поправила на груди голубенький свой передник, а на голове кокошник. Николай Петрович даже почувствовал, что она нисколько не обижена его властным, требовательным окриком, а наоборот, рада ему, потому что настоящий мужчина и должен быть таким – властным и требовательным. Лицо ее зарумянилось, движения стали быстрыми. Не успели Николай Петрович с цыганом оглянуться, как перед ними уже стояли два стакана золотисто-играющего, действительно, наверное, хорошего и дорогого вина, а на чисто вымытой и насухо вытертой тарелочке дорогая закуска: бутерброды с тем ноздреватым сыром, на который зарился Николай Петрович, с колбасой и маленькими копчеными рыбками – шпротами. Не забыла продавщица и цыганят: каждому из них она подарила по целой горсти конфет в блестящих розово-красных обертках. Цыганята вмиг повеселели, перестали дичиться, сливово-черные их глазки засверкали совсем по-иному – счастливо и довольно. Но ни одной конфетки они самочинно развернуть не посмели, как это сделали бы любые иные дети, а, зажав их в кулачках, прожегом метнулись из-под опеки отца в дальний угол, к табору-становищу, чтоб показать добычу матери и другим женщинам-цыганкам, у которых дети были еще совсем маленькие, грудные и ничего добыть не могли. Николай Петро-

вич подивился этой непонятной для постороннего человека и такой на первый взгляд жестокой жизни, но потом согласился, что по-иному в кочевье своем цыгане не выживут – за вольную жизнь надо платить слишком дорогую цену.

Цыган тем временем щедро, голубыми и зелеными бумажками, расплатился с продавщицей, и та, было видно, ничуть не удивилась этой щедрости, а как раз на нее и надеялась, справедливо считая, что настоящие мужчины всегда должны быть богатыми и расточительными, тем более когда имеют дело с такой румянощечкой и быстрой в движениях женщиной.

Цыган, правда, особого внимания на нее не обратил, сейчас ему почему-то был интересен Николай Петрович.

– За твое здоровье хочу выпить, – поблескивая золотым перстнем-печаткой на пальце, поднял он высоко над столом золотисто-темный стакан.

– Спасибо, – поблагодарил цыгана Николай Петрович, тоже беря в руки вино. – Дай Бог и тебе здоровья.

Они выпили. Цыган как-то по-особому красиво и торжественно, держа на отлете руку, а Николай Петрович с трудом, то ли оттого, что давненько уже не пил вино гранеными, наполненными по самый венчик стаканами (не позволяло ему этого здоровье), то ли оттого, что никак не мог понять цыганского к себе внимания и доброты. Действительно, с чего бы это привечать цыгану, одаривать деньгами и угощать вином полунищего русского старика в лаптях, пусть даже он

и идет паломником в Киево-Печерскую святую лавру?! Цыган сам туда может попасть в любое время, сам и помолиться за своих родственников и соплеменников, хоть совместно с остальным православным людом, хоть отдельно. Но вот же зачем-то он приветил его, выделил среди других нищих и полунищих бродяг, которых тут, на узловой станции, поди, обретается немало. Неужто всему причиной наперсная коробочка Николая Петровича да просительные слова на ней: **НА БОЖИЙ ХРАМ И ПОМИНОВЕНИЕ?!**

Лишь чуток притронувшись после выпитого вина к ломтику сыра, Николай Петрович затаился и стал ждать, что же будет дальше. Никакого хмеля он не почувствовал. Вино ему показалось каким-то церковным, поминальным, от него, как известно, хмеля не бывает, а одна только благодать и откровение. Цыган, судя по всему, знал это изначально, поэтому и потребовал у буфетчицы не водки, а именно вина, терпкого и непьянящего.

– Не любим мы друг друга, – неожиданно произнес он, – оттого так плохо и живем.

Николай Петрович такому откровению цыгана ничуть не удивился, сразу поняв, что нынче странный этот таборный цыган говорит не только о своих соплеменниках (они-то как раз по-настоящему, по-христиански и любят друг друга; быть может, одни во всем мире, потому что иначе им нельзя, иначе они просто не уцелеют в тяжких кочевых скитаниях), а обо всех людях, которые во взаимной ненависти и вражде

бесприютно живут из века в век.

Николаю Петровичу пора было что-то отвечать, но что и как, он не знал, поэтому и стоял перед цыганом в растерянности и покаянии, как будто это именно он, Николай Петрович, и был виноват в том, что люди нынче живут в такой нелюбви друг к другу.

– Молиться надо, – наконец с трудом произнес он и, кажется, не ошибся.

Цыган задумался и в этой надсадной, тяжелой задумчивости, которая, наверное, только и случается у вольных кочевых людей, пребывал довольно долго, а потом вдруг вскинул на Николая Петровича черные свои, почти угольные глаза и немало удивил его по-евангельски верными словами:

– Если сердце пустое, молитва не поможет...

Больше Николаю Петровичу стоять у столика было незачем да, может, и опасно. Цыганских откровений до конца понять ему не дано, неохватно это для его стариковского угасающего разума, а смущать цыгана пустыми разговорами грех – не для того он позвал Николая Петровича к себе, не для того пил с ним церковное поминальное вино. Томится и страждет неприкаянная цыганская душа и повсюду ищет облегчения этих страданий. Силы же Николая Петровича слишком слабы, чтобы найти и дать их цыгану. Он сам страждет и заблуждается, и чем ближе к Киеву и святой его Киево-Печерской лавре, тем все сильнее и сильнее.

– Пойду я потихоньку, – отпросился он у цыгана.

– Иди, – вроде бы легко отпустил его тот, но когда Николай Петрович взял в руки посошок, чтоб удалиться, цыган, словно боясь, что Николай Петрович по старости и дряхлению разума забудет однажды данное обещание, напомнил ему о своей просьбе: – Так ты отдельно за нас помолись, перед иконой Божьей Матери.

Недоверие цыгана было Николаю Петровичу в общем-то понятно, ничего предосудительного в нем он не нашел. Случись ему самому просить о чем-либо такого древнего, ослабевшего головой старика, так он тоже, наверное, десять раз повторил бы ему свою просьбу.

– Помолюсь, обязательно помолюсь, – заверил Николай Петрович цыгана, хотя и с заметным чувством вины в голосе, как будто он уже действительно забыл и не выполнил данного цыгану обета.

Стараясь искупить эту вину, Николай Петрович решил было подробно расспросить цыгана, почему и зачем надо молиться за его кочевой народ непременно отдельно и непременно перед образом Божьей Матери, но все же дрогнул и отступился от своего решения. Коль цыган сам по доброй воле ничего не объяснил ему, так пусть это и останется тайной и сокровением, постичь которые человеку не цыганского роду не полагается да, может быть, и не дано совсем.

Еще раз сердечно поблагодарив цыгана за пожертвование на Божий храм и за угощение, Николай Петрович направился в закуток под фикус, но местечко его, так удачно приме-

ченное и выбранное, уже оказалось занятым. Пришлось Николаю Петровичу искать нового пристанища для отдыха и ночлега.

И он вскоре обнаружил его. В затененном уголке за справочными автоматами стояла прикованная к батарее цепью грузовая железнодорожная тележка. Пользовались ею, по-видимому, редко, берегли для какой-нибудь особой, непредусмотренной перевозки, иначе зачем бы и приковывать ее тяжелой цепью и амбарным замком к батарее. Во всю длину тележки лежала подстилка из картонного разорванного ящика, великодушно оставленная каким-то вчерашним ночлежником. Николай Петрович поблагодарил его в мыслях за такую заботу, снял мешок и начал неспешно, основательно приготавливаться ко сну на столь удобном, прямо-таки плацкартном месте. На всякий случай он, правда, огляделся по сторонам, не появится ли этот вчерашний, прежний ночлежник, не потребует ли назад и подстилку, и всю тележку. Но никого подозрительного, какого-либо Симона или Павла, поблизости не виделось. Железнодорожного же начальства, грузчиков и носильщиков, он не боялся: если тележка кому понадобится, то Николая Петровича потревожат без особого крика и ругательства – человек он старый, безвредный, это сразу видно любому-каждому.

Но, слава Богу, никто его не потревожил, не прогнал до самого утра. Подложив под голову мешок, Николай Петрович спал крепко и дремотно, заботясь лишь о том, чтоб не за-

грязнить лаптями подстилку, которая еще кому-нибудь пригодится, да изредка проверяя, на месте ли кошелек с пожертвованиями в глубоком нагрудном кармане. Прносящиеся мимо поезда, переговоры диспетчеров, разноголосый шумный гомон пассажиров, время от времени волною, накатом заполонявших кассовый зал, ничуть не беспокоили его, а наоборот, только убаюкивали посильней, как малого ребенка. Сниться Николаю Петровичу ничего не снилось, не виделось: ни Малые Волошки с горюющей там в ожидании Марьей Николаевной, ни что-либо военное, фронтовое, что в последние годы частенько грезилось ему по ночам. Лишь однажды Николаю Петровичу вдруг почудилось, что как будто кто-то склонился над ним во сне, но не человек, нет, а вроде как птица с широко распластанными крыльями. Николай Петрович пробудился, долго вглядывался спросонья, вблизи и поодаль искал глазами, но так никого и не обнаружил. Может быть, надо было подняться, выйти на привокзальную площадь, на перрон, где птица могла затаиться среди кустов и деревьев или в фонтане, слившись воедино с гипсовыми играющими лебедями. Но сил у Николая Петровича никаких не было, он опять закрыл глаза, провалился в сон — и птица тут же снова склонилась над ним, охранно обхватила крыльями, окутала неземным каким-то теплом...

И так повторялось еще несколько раз, пока наконец не забрезжил рассвет и не погасли во всем вокзале одна за другой люстры.

Николай Петрович поправил на тележке примятую маленько подстилку, стряхнул с нее все соринки, чтоб от завтрашнего ночлежника не было на него никаких нареканий, и пристроился в очередь за билетом, со вздохом и покаянием решив истратить на него несколько монеток-гривенок из жестяной коробочки. Народ в очереди подобрался предусмотрительный, опытный. Еще задолго не доходя до окошечка, проворные женщины-хохлушки, ехавшие на ранний киевский базар, и мужики, сплошь и рядом в железнодорожной, путевой форме, приготавливали разменные деньги, чтоб кассирша не путалась со сдачей. Редко, но попадались в очереди и люди пожилого возраста, ровесники и ровесницы Николая Петровича, так те вместе с деньгами протягивали в окошечко пенсионные и всякие прочие удостоверения, по которым им полагались дорожные послабления и льгота. Николай Петрович опять посетовал на себя, на свою доверчивость: не поддайся он в Курске обманным речам Симона и Павла, так теперь тоже был бы при всех необходимых документах и доехал бы до Киева в половину цены. Но потом он перестал об этом горевать, вовремя подумав, что ему здесь, на Украине, уже вроде бы как и чужестранцу, никакие льготы, наверное, не полагаются. Совсем успокоенный и бодрый, он подошел к окошечку и протянул кассирше в горсти точное число монеток на полновесный билет до Киева. Но кассирша, вприщур глянув на обличье Николая Петровича, на его подбородок, заросший седой щетинной порослью, вдруг

самочинно выдала Николаю Петровичу от тех монеток половинную сдачу и льготный билет. Ни о каких документах она даже не заикнулась, да и чего ей было заикаться – обличье это удостоверяет возраст Николая Петровича лучше любых документов, вот кассирша и не потребовала их, чтоб понапрасну не задерживать очередь. А что Николай Петрович чужестранец, так это по его одежке и виду никак не отличишь. Таких древних стариков полным-полно и тут, на Украине.

Поблагодарив кассиршу за доверие и милость, Николай Петрович вышел на перрон и занял выжидательную позицию на середине платформы. С законным билетом в кармане он имел полное право ехать в серединном, самом устойчивом вагоне, а не болтаться в хвостовом, шатком и ненадежном, в котором скрываются все безбилетники и пьяницы и который, казалось, едет как бы по обочине железной дороги, на особицу от всего остального состава.

Юркая, стремительно бегущая электричка показалась минут через пять-десять. Опасаясь поднятого ею встречного вихря, Николай Петрович на всякий случай отступил подальше от края платформы. Но когда электричка затормозила ход и широко распахнула перед пассажирами автоматические двери, он переборол свою робость и зашел в нее с полным достоинством и честью, постукивая не столько из необходимости, сколько ради солидности посошком о железные ее ступеньки и помосты. На последнем шаге, при самом входе в вагон Николаю Петровичу вдруг послышался еще ка-

кой-то сопроводительный стук и поскрипывание. Он скользнул взглядом вниз и почти воочью увидел, что на ногах у него не разношенные допотопные лапти, а хромовые офицерские сапоги – подарок Володьки. Для проверки Николай Петрович приударил пяткою о пол, и звук от этого удара пошел совсем уж сапожный, твердый, который только и мог родиться из-под крепкого, слаженного в подбор, с берестяною прокладкою для скрипа и шика каблука. В таких сапогах да еще с билетом в кармане можно не только до Киева, а до самого моря ехать...

В утреннем, слабо еще наполненном народом вагоне свободных мест было хоть отбавляй – выбирай любое. Николай Петрович и начал выбирать. Сперва он устремился было в глубь прохода, к широкой дощатой лавке, но потом повернул назад и занял продольное, считай, одноместное сиденье поближе к двери. Во-первых, никто ему тут мешать не будет, да и он тоже никого не беспокоит в дороге, а во-вторых, вдруг подоспела к Николаю Петровичу в это мгновение одна, словно подсказанная откуда-то сверху мысль: нечего ему тут сидеть-рассиживаться, любоваться примнившимися, обманными сапогами, надо доставать из мешка коробочку и идти с ней к людям. И сразу все встало на свои прежние места. Николай Петрович опять вспомнил бедственное свое положение, юдоль, опять углядел на ногах у себя разбитые лапти, а за плечами – котомку с небогатым дорожным скарбом, среди которого ценней всего жестяная коробочка, обозначенная

молитвенной просительной надписью.

Выждав, пока электричка тронется, быстро оставляя позади себя и златоглавый вокзал, и мокрые от утреннего тумана, полусонные еще деревья в скверике, и будто вострепешившихся при ее движении гипсовых лебедей, он достал коробочку из мешка, аккуратно приладил на груди и, помолившись, шагнул в проход. Уж коль взялся Николай Петрович собирать на Божий храм и поминовение, так теперь отступить, сбиваться с этого пути ему негоже, теперь, может, до самого последнего своего дня надлежит ему только этим и заниматься, обретая неведомую прежде легкость и чистоту сердца. Много ли, мало ли, а что-нибудь в утренней, споро бегущей по рельсам электричке Николаю Петровичу да подадут. Глядишь, подати этой, даяния хватит ему и на то, чтоб покрыть невольную трату на билет, и на то, чтоб поставить в Киево-Печерской лавре особую свечу за всех людей, которые не очерствели еще душой и подали на Божье дело и промысел, может быть, последнюю свою копейку. Переходя с обнаженной головой от одной лавки к другой, от одного сиденья к другому, он ненадолго останавливался перед ними и всякий раз говорил одни и те же, доставшиеся ему в наследие неведомо от каких времен и неведомо от каких людей, паломников и слепых старцев, слова:

– По силе возможности! По силе возможности!

Нельзя сказать, чтоб все, но многие пассажиры откликались на призыв Николая Петровича, бросали ему в коро-

бочку действительно, может быть, последние сбережения. И лишь один молодой мужик, с пышными усами подковой по верхней губе и подбородку, указав на коробочку Николая Петровича, обидно упрекнул его и ничего не подал:

– Що ж ты на москальский мови просыш?! Чи свою забув?!

– А я на своей и прошу, – не склонился перед ним Николай Петрович и, твердо подсобляя себе посошком, перешел через гремящий, лязгающий тамбур в другой вагон.

За два часа, что электричка бежала до Киева, принимая на каждой остановке все новых и новых пассажиров, Николай Петрович обошел по несколько раз все вагоны и таки собрал почти полкоробочки медных денег. Успокоился он, дал себе отдых лишь на подъезде к городским окраинам, к Днепру, когда на правом, высоком его берегу мелькнули вдруг на солнце золотые купола Софийского собора. Николай Петрович насчитал их тринадцать и каждому низко поклонился, осеняя себя крестным знамением. Сердце билось у него и трепетало, как заново рожденное, готовое вот-вот вырваться из груди, – доехал, несмотря ни на какие невзгоды и преграды, все-таки доехал, и теперь остается Николаю Петровичу совсем немного, чтоб предстать перед святыми иконами и мощами Киево-Печерской лавры.

Рядом с Софийским собором Николай Петрович еще увидел высоко взметнувшийся на гористом берегу памятник-монумент Родине-матери со щитом в одной руке и ме-

чом в другой. Памятник не был так красив, как София, но Николай Петрович поклонился и ему, потому как он равновелик Софии, ее золотым тринадцатиглавым куполам, за ним тоже стоит русская земля, сотни и тысячи солдат, ровесников Николая Петровича, polegших за эту землю...

Сразу по выходе из электрички отправляться в Киево-Печерскую лавру Николай Петрович не решился. Надо было хоть маленько отдышаться, привести себя после дальней дороги и стольких приключений в божеский вид. На вокзале или поблизости от него, в городской суете такого отдыха не обретишь, и Николай Петрович надумал пробраться как-нибудь к Днепру, чтоб посидеть там в укромном местечке, в схороне, накопить побольше сил для последнего перехода.

Он так и сделал. По подсказке торговавшей мороженым женщины Николай Петрович спустился в метро, словно в подземное царство, проехал там в толчее три остановки и вышел на открытой платформе, с которой был виден широко разлившийся в талой, пойменной воде Днепр, чем-то похожий по левому, заросшему вербой и красноталом берегу на речку Волошку. Метро Николай Петрович не боялся, он несколько раз путешествовал по нему в Москве, когда ездил гостевать к Володке и Нине. Все правила и обычаи подземелья ему были ведомы, и Николай Петрович почти ни разу не ошибся ни при входе, ни при выходе, тем более что киевское метро было точь-в-точь похоже на московское, как будто их строил один человек. К объявлениям же на украинском

певучем языке Николай Петрович быстро привык и все понимал без малейшего затруднения: «Будьте обэрэжни! Двери зачыняются! Наступная станция – «Днипро»!» Все, считай, по-русски. Он обрадовался этому единству языка и, стало быть, и мыслей, и обидные слова насчет мовы вислоусого мужика в бахмачской электричке ему уже не показались такими обидными. Николай Петрович по-отцовски простил его и даже забыл об этом думать, с немалым интересом и удовольствием прислушиваясь и в пещерной толчее метро, и в вагоне, и уже на платформе к переплетению исконной какой-то вязи русского и украинского языков, на которых повсюду легко говорили окружающие его люди. Николай Петрович почувствовал себя совсем дома, на родине и, не давая остыть в душе радости от этого чувства, стал пробираться по обочине тротуара к лиманно-широкому рукаву Днепра. Он искал себе места безлюдного, тихого и вскоре действительно нашел его. В небольшом заливчике-затоке качался на волнах игрушечный какой-то кораблик (похоже, лодочная станция), а за ним начинался нетронутый, не освоенный еще людьми кусочек песчаного берега. Местами он был первородно заросший красноталом и камышом-очеретом, совсем уж таким, как в Малых Волошках в конце огорода Николая Петровича.

Тут Николай Петрович и обосновался, обнаружив под обширным кустом краснотала выброшенную волной корягу. Она уже хорошо просохла, прожарилась на солнце, и на ней

можно было безбоязненно посидеть, понежиться. Николай Петрович и посидел, подставляя заднепровскому влажному ветру обнаженную голову, любуясь и не в силах налюбоваться видением златоглавой Софии и других соборов и церквей, вольно раскиданных по всему правому берегу. Потом он решил умыться, и не абы как, а по грудь и пояс, как и полагается путнику после долгой, истомившей его дороги. Первым делом Николай Петрович поочередно снял телогрейку, пиджак и две рубахи: верхнюю, байковую, цветную, и нижнюю, нательно-белую. Ветер и солнце в два обхвата окутали, окружили со всех сторон его старческое, исхудавшее за дорогу тело, словно предварительно омыли его. В блаженстве и истоме Николай Петрович еще несколько минут недвижимо посидел на коряге и даже как бы стал задремывать. И в этой дреме около него опять стала ходить кругами какая-то птица, охранно взмахивать крыльями, хотя никакая опасность Николаю Петровичу вроде бы и не угрожала. Он начал было уговаривать птицу, мол, успокойся ты, передохни, чего теперь зря волноваться: слава Богу, добрались до Киева и Днепра, вон, видишь, на том берегу Печерская лавра, София и Родина-Мать со щитом в руках – чего бояться. Но птица все равно не отходила от Николая Петровича ни на шаг, с головой закутывала его белоснежно-белыми, как весеннее цветение, крыльями и даже едва слышимо, по-голубиному ворковала. Иногда Николай Петрович различал в этом ее ворковании вполне человеческие, доступные слова. Он пробуждал-

ся, стараясь понять их смысл и значение, но птица тут же исчезала, может быть, пряталась где-нибудь за кустом краснотала. Николай Петрович решил, что обязательно обследует все окрестности куста, все его корявые, занесенные пойменным песком и очеретом дебри, обнаружит там неуловимую, преследующую его птицу и спросит ее: она действительно птица, северный перелетный лебедь, или, может, журавль, или весенний аист-черногуз, только что вернувшийся в свое гнездовье, или вырвавшийся из тесной будочки-голубятни на волю сизарь?! Или она бестелесный, невидимый посланец Ангела-Хранителя, который только и может явиться во сне и видении. Но зачем же тогда она так бьется, так волнуется, ведь все самое страшное, все дорожные невзгоды Николая Петровича позади, а впереди у него лишь светлая встреча, свидание со святой Киево-Печерской лаврой, с ее иконами и мощами, а потом такое же светлое возвращение домой, в Малые Волошки, к Марье Николаевне.

Окончательно пробудил Николая Петровича к жизни гудок быстроходного сторожевого катера, который пронесился с дозором неподалеку от берега. Николай Петрович с мальчишеской завистью проводил его взглядом, пока тот не исчез вдаль за камышовыми зарослями. Вот бы прокатиться на таком катере-пароходе по Днепру, оглядеть его со всех сторон: с правого, высокого, и левого, пологого, берегов. Но катерка уже не было видно; лишь изредка доносились, все затухая и затухая, его тревожные сигнальные гудки да под-

нятая катерком волна накат за накатом плескалась почти у самых ног Николая Петровича.

Когда вода успокоилась и опять залегла недвижимой си-не-голубой гладью, Николай Петрович начал снимать лапти. Они были уже порядком истоптанными, а в двух местах возле обушин так и заметно протертыми. В домашних условиях Николай Петрович такие лапти отложил бы в сторону или во-все отдал бы Марье Николаевне на растопку печи, но здесь, в дороге, они могли еще ему пригодиться, послужить, если новые, запасные, пока хранимые в мешке, вдруг окажутся не по ноге. Поэтому Николай Петрович тщательно вымыл их, выполоскал в прибрежной воде и аккуратно, в паре, поставил сушиться на коряге. Потом он выстирал и раскинул на высокой болотной кочке портянки, хотя их тоже стоило бы без всякого сожаления выбросить, ведь в мешке у него были сменные, предусмотрительно положенные туда Марьей Николаевной.

Теперь можно было и самому путнику помыться в быстро текущей днепровской воде. Николай Петрович закатал до колен штанины и начал было входить в песчаную отмель, намереваясь поплескаться поблизости от берега, но потом он, опять словно по чьей-то подсказке, остановился и повернул назад, к коряге. Ничуть не стесняясь своей старческой наготы, он разоблачился там полностью, оставив на теле лишь серебряный крестик, и бесстрашно шагнул в святую днепровскую воду. Она была еще до-зимнему студеной, обжигающе

холодной и, наверное, очень опасной для пораненной ноги Николая Петровича и для вечно нестойкой к простуде большой груди. Но это нисколько не остановило его, и Николай Петрович легко и неощутимо заходил все глубже и глубже, как когда-то, много веков тому назад, заходили в эту реку и в эту воду древние, еще языческие люди для принятия новой христианской веры, для крещения. И вода сразу показалась Николаю Петровичу ничуть не опасной, а наоборот, желанной, целительной. Тело, погружаясь в нее, налилось живительным теплом, крепостью и силой, очистилось от всех хворей и недугов. Очистилась и душа, стала опять как бы первородной, нетронутой еще никакими страданиями и скверной.

Совершал свое повторное крещение Николай Петрович долго. Омыл и голову, и плечи, и грудь, с отрадой ощущая, что от каждой горсти воды теплоты в его теле и просветления в душе все прибавляется и прибавляется.

Вышел он из реки совсем помолодевшим, бодрым и еще каким-то обновленным, как будто действительно родился на Божий свет заново и с этой минуты заново начинает жить, ничем не оскверняя свою первородную детскую душу. Николай Петрович оделся во все чистое, просторное, обулся в новые лапти, которые оказались ему как раз впору, по ноге, нигде не жали и не ущемляли шаг.

Теперь можно было отправляться и в Лавру, но Николай Петрович вдруг вспомнил о птице, которая, наверное, и по

сю пору прячется в зарослях краснотала. Он решил выполнить свое обещание, обнаружить там неуловимую эту птицу и вступить с ней в переговоры, коль уж она так легко понимает человеческий язык. Подхватив с коряги посошок, Николай Петрович заглянул за куст, почти уверенный, что птица – вон она – сидит, дожидается его на гнездовье. Но птицы не было, не было и ее следов. Николай Петрович немало опечалился этому обстоятельству, но вдруг прямо на ладонь ему опустилось снежно-белое продолговатое перышко, как будто только что улетевшая птица обронила его со своего крыла. Николай Петрович, бережно удерживая перышко на ладони, любовался им несколько мгновений, а потом запрятал в нагрудный карман. Коль уж он по своей провинности не может привезти из Киева Марье Николаевне какой-либо дорогой обиходный подарок – шаль или вышитый крестом и гладью фартук, так пусть подарком ей послужит это белоснежное воздушное перышко, может быть, даже специально оброненное для такого случая и привета из крыла Ангела-Хранителя или его посланника.

Николай Петрович собрал развороченный перед купанием мешок, завязал его вначале веревочкой, потом потуже, на манер военного вещмешка, захлестнул ляжками, приторочил сверху, опять-таки по военной, фронтовой привычке, для окончательной просушки старые лапти, как не раз, случалось, приторачивал промокшие до последней стельки сапоги, а сам, если позволяли условия, двигался босиком. Те-

перь все было готово, оставалось только закинуть мешок за плечи и отправиться с Божьей помощью на поиски Лавры. Но прежде Николай Петрович повернулся лицом к Софии и, осеняя себя крестным знамением, в последний раз прочитал подорожную молитву ко Пресвятой Богородице от странника и паломника, в путь шествовати хотящего.

Когда он дочитал молитву до конца, до последних тех слов, которые запомнил из домашнего напутственного чтения Марьи Николаевны, на душе у Николая Петровича стало еще теплей, и он уверовал, что последние переходы и шаги к Лавре одолеет благополучно, без всяких неожиданностей и приключений.

Молитва и запрятанное в нагрудный карман перышко Ангела-Хранителя действительно помогли ему. Нигде не заплутав, не сбившись с дороги, Николай Петрович вернулся назад в метро, спустился по бегущим, конвейерным ступенькам в подземные его лабиринты и там тоже не заблудился. Всего лишь два-три раза спросив у встречных и попутных людей, где, в какой стороне находится Лавра, он, словно кем-то сверху, над подземельем, незримо ведомый, быстро достиг ее. Вернее, не ее, а необходимой ему последней станции метро, от которой до самой Лавры предстояло еще проехать несколько остановок на троллейбусе. Но пробиваться в его переполненное народом, душное чрево Николай Петрович не стал. Выбравшись из толчеи метро, он углядел по левой стороне проезжей дороги чисто подметенный тротуар-тро-

пинку, вступил на нее и легко пошел по ней, подсобляя себе верным помощником – посошком. Но чем ближе Николай Петрович подходил к Лавре, тем все заметнее эта легкость истекала из него: все тело наливалось какой-то неподъемной тяжестью; ноги совсем не слушались, с трудом отрывая от земли ставшие вдруг такими тесными и ломкими лапты, а руки с трудом удерживали тоже во много крат отяжелевший посошок; голова, всего полчаса тому назад, после купания в Днепре, такая ясная и просветленная, затуманилась и несколько раз пошла кругом, обертотом; в сердце же у Николая Петровича поселились болезненный трепет, озноб и как бы пустота, словно старческая кровь совершенно перестала питать его. Волей-неволей Николаю Петровичу пришлось часто останавливаться, унимать этот трепет и озноб, дышать по возможности глубже впалой, изувеченной на войне грудью, чтоб сердце, подкрепленное свежим воздухом, опять наполнилось кровью. Во время одной из таких остановок, когда дыхание у Николая Петровича совсем забилося, зашлося клетотом, все ближе и ближе подбираясь к приступу, он даже было подумал, что все это неспроста, не случайно – что это ему верный, надземный знак, предупреждение, а может быть, и запрет идти дальше. Николай Петрович снял фуражку, начал в забвении креститься, все время повторяя одни и те же слова: «За что, Господи, так наказуешь меня в преддверии святой Твоей обители, святых Твоих мест?!» И ему вроде бы полегчало, грудь успокоилась, а сердце заби-

лось ровней и тверже. Тверже стал и шаг Николая Петровича...

Он оторвал от земли просветленный взгляд, огляделся вокруг и пришел в изумление от красоты и утренней городской благодати. Улица, по которой двигался Николай Петрович, с двух сторон поросла зеленым, уже лиственным парком, настоящим лесом, и лес этот был наполнен детскими и птичьими голосами. Они так переплелись друг с другом, что никак нельзя было понять, где поют, заходятся в щебетании и клетоте птицы, а где хороводятся, оглашая лес ауканьем и потаенными криками, малые дети. И еще никак не мог понять Николай Петрович, что же случилось с ним минуту тому назад, почему вначале навалилась на него темная ночная сила, которая едва не умертвила его у самых врат святой обители, а потом вдруг отпустила, истаяла, как будто черное вороново крыло сменилось белым, лебединым и ангельским.

Объяснить всего этого свершения Николай Петрович был не в состоянии, но чувствовать чувствовал, что именно так и должно было случиться, чтоб светлая сила победила темную, чтоб белый его Ангел-Хранитель одолел черного, оказывается, тоже всю дорогу следовавшего за ним.

Лавра открылась Николаю Петровичу совсем неожиданно. Вдруг на возвышенности, на левой, горной стороне улицы, словно на весу возникла, проступила из зеленой весенней пелены озаряемая утренним солнцем каменная стена. Николай Петрович застыл перед ней, с трудом сдерживая

гулки, ликующие удары сердца, троекратно перекрестился и лишь после этого осмелился проследовать вдоль стены к нерукотворной надвратной церкви.

Но прежде чем войти под ее высокие каменные своды, он занял очередь к кассе, дощатой будочке-киоску, где, оказывается, полагалось брать на посещение Лавры билеты. Николай Петрович ничуть этому не огорчился, а даже наоборот, отнесся к такому рачительному уложению с полным доверием. Ведь в заповедные печерские церкви ходят не только богомольцы и паломники, а и просто любопытствующие, праздные люди, так и будет совершенно справедливым, чтоб они купили билет – подали милостыню на Божий храм. Но вот ценники, висевшие рядом с окошечком, Николая Петровича удивили и озадачили. Иностранным гражданам полагалось платить за вход в Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник по двадцать пять гривен, гражданам СНГ – по шестнадцать, Украины – по пять, ветеранам – по две, студентам – по одной. Николай Петрович растерялся, не зная, к кому себя причислить: к гражданам СНГ или к ветеранам. Если к жителям СНГ, то есть России, то шестнадцати гривен у него никак не найдется, вытряси он хоть до самого дна свою заветную коробочку. Если же к ветеранам, так опять-таки никаких удостоверяющих документов на этот счет у него не имеется, а поверят ли ему на слово – еще неизвестно.

И все-таки Николаю Петровичу поверили. Кассирша без-

ропотно выдала ему билет за две гривны, хотя и напутствовала:

– Вы в другой раз не говорите, что из России!

– Почему? – вспыхнул обидою Николай Петрович. – Я из России и есть, из Малых Волошек.

– Да я вижу, – чисто по-русски ответила кассирша. – Но все же не говорите, тут всякие бывают люди.

– Хорошо, – пообещал, чтоб успокоить ее, Николай Петрович.

Он вдруг вспомнил разбойного пограничника с трезубцем на голове, отнявшего у него сапоги, потом вислоусого мужика в электричке, несправедливого и злого, потом еще двух-трех человек, случившихся ему в дороге, которые, узнав, что Николай Петрович из Московии, из России, смотрели ко-со и не по дружбе. Ему впору было ожесточиться, но Николай Петрович не ожесточился, а лишь дал себе зарок: здесь, в святой, единой Киево-Печерской лавре, не таиться, любому и каждому говорить, что родом он и всей своей жизнью из России, страны великой и праведной.

С тем Николай Петрович, еще раз помолясь, и двинулся к надвратной, увенчанной золотоголовым куполом и крестом церкви – и к самим воротам. Они были широко, на две створки, распахнуты, и при каждой стояла на служении монахиня в черных длиннополых одеждах: одна довольно уже пожилая, почти старушка, с просветленным, тихим лицом, а другая – совсем молоденькая, считай, девчонка, но не по годам

печальная и строгая глазами. Пожилая монахиня была занята разговорами с какими-то заезжими, по виду не нашими, не русскими и не украинскими людьми, сплошь увешанными сумками и фотоаппаратами, а молодая стояла в безучастии и задумчивости, время от времени перебирая в руках четки, похожие на черничные ягоды-бусинки. Николай Петрович, напрочь забыв тяжелый разговор с кассиршей, подошел к ней и поклонился.

– Сестрица, – сказал он. – Я издалека, помолиться хочу.

Монашка перестала перебирать четки, вскинула на Николая Петровича голубые, не по годам скорбные глаза и за коротенькое это мгновение, кажется, все поняла, все распознала в Николае Петровиче: кто он и из каких земель, с какими наказами пришел в Киево-Печерскую лавру, что перенес и перестрадал в дороге. Откуда была в ней в столь молодые годы эта прозорливость, одному Богу только и ведомо, но вот же была. Словно по книге прочитала она все мысли и чаяния Николая Петровича (он почувствовал это всем содрогнувшимся телом) и ответила с кроткой улыбкой на устах:

– Молитва всякой душе в утешение.

Слова были вроде бы самые простые, обыкновенные, но произнесены с таким проникновением и верой, что запали Николаю Петровичу глубоко в сердце: подобные слова он и ожидал услышать у порога Киево-Печерской лавры, прежде чем войти в ее древние исконные церкви и пещеры. Правда, по разумению Николая Петровича, произнести их дол-

жен был какой-нибудь умудренный жизнью и непрестанными молениями старец, а не добровольно ушедшая в заточение девчонка, красоту и молодость которой не скрывают даже монашеские одежды. Тем слова ее были сильнее и тверже...

– Твоя правда, дочка, – забывшись, по-мирски ответил ей Николай Петрович.

Монашка ничуть на него за это не осерчала, опять улыбнулась смиренно и кротко, призывая тем самым и Николая Петровича к смирению и кротости.

– Ступайте с Богом, – промолвила она ласково, но вместе с тем и наставительно, как наставляют, поучая малых, неразумных детей, взрослые люди. – В Крестовоздвиженской церкви у Малых пещер сейчас служба.

Николай Петрович снова поклонился ей и послушно пошел по брусчатке мимо Большой лавровой звонницы, мимо какого-то восстанавливаемого из руин многоглавого собора, мимо множества других, больших и малых храмов все вниз и вниз, к Крестовоздвиженской церкви.

Склонив голову перед золотыми ее маковками и животворящим перезвоном колоколов, Николай Петрович с трепетом в сердце вступил под высокие храмовые своды.

Церковь поразила его не столько сиянием свечей, которые то затухали, то вновь вспыхивали перед старинными темными иконами-досками, сколько воцарившимся под ее куполами таинством. Такие церкви и такие иконы зовут на-

моленными, и от них исходит на человека особая благодать и особая живительная чудодейственная сила. Не смея нарушить тишину даже крестным знамением, Николай Петрович несколько минут стоял в полном смирении у двери, и чем больше стоял, тем больше чувствовал, как Божья благодать овладевает всем его существом, оставляя в живых только его душу и отвергая старое, одряхлевшее тело. Будь Николай Петрович человеком более крепким в вере, он, наверное, только обрадовался бы такому отвержению, но он был пока еще слаб и немощен духом и поэтому испугался его. Высоко подняв руку, Николай Петрович положил на голову, грудь и плечи и один крест, и другой, и третий, словно хотел удержать ими свое тело еще хоть немного в жизни. И это ему удалось: душа под крестным знамением соединилась с телом. Николай Петрович вздохнул и нашел в себе силы сделать несколько шагов в сторону от двери, к дощатой перегородке, за которой стоял пожилой священнослужитель в черном клобуке, выдававший прихожанам по требованию кому поминальные и задравные свечи, кому грамотки, а кому нательные кресты и молитвенники. Николай Петрович достал заветную свою коробочку с подаяниями, пробился к служителю и, подождав, пока тот останется с ним один на один, протянул ее через перегородку:

– Вот, прими на храм Божий и поминовение. Собрал, что было по силам.

– С радостью примем, – ответил ему служитель, забирая

коробочку из рук в руки.

Николаю Петровичу очень понравилось, что служитель сказал в первую очередь «с радостью», а не «с благодарностью», как того можно было ожидать. Действительно – это большая радость и для Николая Петровича, и для служителя, и для всей древней намоленной церкви, что люди еще не очерствели душой, что подают, кто сколько может, на ее утверждение. Но потом последовала и благодарность. Служитель, склонившись через перегородку к Николаю Петровичу, обнял его за плечи и трижды крест-накрест прижал к себе.

– Спасибо тебе, брат мой, – произнес он.

Николай Петрович ответил ему взаимностью, тоже троекратно прикоснулся к его одеждам и вдруг явственно слышал в благодарственных речениях этого пожилого, судя по возрасту, воевавшего служителя давнее, фронтовое и часто предсмертное слово, так схожее с только что прозвучавшим, воцерковленным: «Браток!»

Несколько мгновений они постояли нерасторжимо, в братстве и сплочении, словно эти сродственные слова навсегда соединили их, двоих, может быть, единственных сейчас в церкви людей, опаленных той полузабытой уже нынче и заслоненной другими сражениями войной.

Наконец Николай Петрович оторвался от служителя и тихо попросил его:

– А нельзя ли мне свечу для поминовения?

– Отчего же нельзя, – отверг его робость и неуверенность слуга. – Возьми.

При этом он протянул Николаю Петровичу целую связочку тоненьких восковых свечей, которых, наверное, хватило бы, чтоб поставить перед каждой висящей в церкви иконой. Но Николай Петрович попридержал его руку и чистосердечно признался в бедственном своем положении:

– Мне столько не по деньгам.

– Да Господь с тобой, – обиделся даже на него слуга. – Бери! Дарения твои неоплатны.

И Николай Петрович связочку принял. Посильнее прижимая ее к груди, он начал было отходить от перегородки в глубь церкви и вдруг вспомнил, что у него в кошельке лежит цыганская двугривенная бумажка с изображенным на ней Ярославом Мудрым. Николай Петрович повернул назад, достал бумажку из легко открывшегося кошелька и, винясь за свою забывчивость перед слугой, сказал:

– А на эти деньги дай мне свечу отдельно. Цыгане просили помолиться.

– Помолись и за цыган, – ни единым словом не упрекнул его за сокрытие богатств слуга.

Он выбрал из возвышающейся позади него на столе горка свечей действительно особую, твердо скатанную и медоносно пахнущую воском и указал на дальнюю, сияющую золотым окладом икону:

– Вон там, перед Божьей Матерью поставь. Она их заступит.

ница.

Николай Петрович пообещал все исполнить в точности, присовокупил цыганскую свечу к связочке и, теснимый уже, от перегородки другими прихожанами, наконец расстался со служителем, хотя ему и желалось поговорить с ним еще о чем-нибудь, повспоминать, не на одном ли фронте они воевали, не под началом ли одного и того же маршала, который конечно же был гораздо отважней и сильнее военным умением других командующих фронтами. Правда, речи эти надо вести не здесь, не в церкви, а далеко за ее оградой, на свежем воздухе, потому что под церковными сводами, перед святыми иконами никаких иных речей, кроме молитв, быть не может...

Стараясь не шаркать по каменному полу лаптями, не цокать посошком, Николай Петрович проник поближе к амвону, где уже заканчивалась утренняя служба. Он постоял немного в толпе молящихся, послушал песнопение хора, дивясь красоте и благозвучию его голосов. В нужных местах вслед за другими, более крепкими в вере и понимающими службу богомольцами Николай Петрович осенял себя крестным знаменем, низко кланялся и за каждым поклоном чувствовал, как все больше сливается он воедино и с молящимися молчаливыми людьми, и с настоятелем храма в золотых сиятельных ризах, и еще с чем-то необъемлемым, заполняющим все на земле и на небе, чему есть, наверное, только одно название – Царствие Божие... За всю свою жизнь не

испытывал Николай Петрович чище и светлее минуты...

Но вот из уст настоятеля прозвучало последнее «Аллилуйя», последнее «Аминь», молящиеся разъединились и небольшими стайками начали медленно расходиться, растекаться по храму. Кто сразу шел на выход, где разгорался светлый весенний день, а кто, прощаясь с храмом, подступал то к одной, то к другой иконе, чтоб помолиться перед ними в одиночестве. Николай Петрович двинулся вслед за ними, хотя ему и было до сердечной боли жаль, что единение это распалось, что он опять остался один, старый и немощный...

Но когда Николай Петрович остановился перед иконой Божьей Матери с младенцем Иисусом на руках и глянул ей в глаза, то все уныние его разом прошло, и он, укрепляясь душой, опять подумал – нет, не один.

Вынув из связочки свечу, Николай Петрович затеплил на ней огонек от других, горящих здесь свечей, твердо укрепил на подставке и начал первую свою молитву.

Она была за упокой души отца с матерью, родивших и вырастивших его. Особых молитвенных слов Николай Петрович, по неучению своему, не знал, скорбел об этом и, скорбя, без усталости крестился, кланялся и Божьей Матери с младенцем на руках, не по-младенчески взирающим на Николая Петровича, и своей, столько настрадавшейся в жизни матери, и своему отцу, рано, до срока умершему, так и не дождавшись сына с войны.

Временами, отвлекаясь от молитвы, Николай Петрович

начинал вспоминать их. Мать грезилась ему уже в пожилом, стареньком возрасте, сидящей в праздничный день на лавочке или на крылечке, а отец – молодым, крепким мужчиной, которым он и остался в его памяти.

Постояв еще немного в счастливом забвении перед иконой Божьей Матери, Николай Петрович перешел к другим, висящим и рядом, и поодаль. Возле каждой он ставил свечу и, как умел, молился за упокой души умерших раньше его родственников, друзей и знакомых. В первом ряду, понятно, шли фронтовые его сверстники-однополчане, и возглавляла этот ряд Соня-санинструктор, конопатая бесстрашная девчушка, которой он обязан своей жизнью. Николай Петрович собрал было пальцы в щепотку, в троеперстие, чтоб осенить себя крестным знаменем, помянуть Соню и добрым словом, и неустанной молитвой, но потом вдруг опустил руку. Погибшей, похороненной в братской или одиночной могиле Николай Петрович Соню не видел, и, значит, молиться за упокой ее души он не имеет никакого права. Жива Соня, непременно даже жива, нянчит сейчас где-либо внуков, а то, глядишь, и правнуков и под хорошую, праздничную минуту, может быть, рассказывает им, как однажды в самом начале войны спасла, вынесла с поля боя раненого непутевого бойца, который с испугу совсем раскис и собрался было помирать. Так что молиться за упокой Сониной души Николаю Петровичу грех великий и неискупимый. Вот подойдет время молитвы за здоровье, тогда уж он точно поставит Соню

первой, заглавной с ряду, потеснив даже Марию Николаевну и Володьку с Ниной. Они за такое теснение не обидятся, потому как понимают (да и помнят по частым рассказам Николая Петровича о Соне), что, не будь ее, не вернулся бы он в Малые Волошки, не встретился бы с Марьей Николаевной и не родились бы у них дети...

Долго думать о том, кто же должен занять Сонино место в изначальной скорбной молитве, Николаю Петровичу не приходилось. Конечно, Маматов, погибший при выходе их взвода из окружения, которому Николай Петрович обязан жизнью не меньше, чем Соне. Не останься тогда Маматов на верную гибель в заслоне, так никто бы из остальных бойцов не уцелел. И пусть теперь легко ему лежится в подмосковных сырых лесах, где его, наверное, похоронили жители из окрестных деревень. Над солдатской безымянной могилой они водрузили пирамидку с красной звездой, а то, может, и крест, невольно приобщив мусульманина Маматова к запретной для него христианской вере. Но что теперь Маматову эти запреты: для него в гибельную последнюю минуту была одна-единственная вера – неоглядная за спиной страна, где в самой ее низинке, у гор, зеленым пятнышком раскинулась и его родная Киргизия.

Потом на очередь у Николая Петровича встал старший лейтенант Сергачев. Человек он был партийный, неверующий, перед боем или по выходе из него крестным знаменем себя не осенял, но, опять-таки, что из того – в душе-то,

по вере своих отцов и дедов, он оставался христианином: за спинами бойцов не прятался, не ловчил, как, случилось, ловчили другие командиры, званием и повыше его. А что бывал он жестким и даже жестоким, так на войне по-другому нельзя, иначе в первом же бою положишь перед вражескими окопами всех своих бойцов да и сам ляжешь рядом с ними с позором и поруганием.

После Сергачева стал Николай Петрович поминать и молиться за упокой души многих других своих однополчан: имянных, фамильных, с которыми провоевал не один день и месяц и которые погибли у него на глазах, и безымянных, из только что поступившего пополнения, спознаться с которыми и сдружиться так и не успел. На войне это случается сплошь и рядом: либо необстрелянных, робких еще новобранцев убьют в первых, самых страшных для них боях, либо ранят тебя, и ты в бреду и горячке, лежа вповалку вначале в медсанбате с такими же ранеными, предсмертными доходягами, а потом и в госпиталях, навсегда забудешь не только имена и фамилии новых своих однополчан, но даже и их лица.

Помолился Николай Петрович и за тех солдат, с которыми довелось ему прощаться на госпитальных койках, самому теряя последнюю надежду на спасение. Этим особенно было жалко, ведь не убило же их, а лишь ранило (пусть даже и тяжело), и теперь оставалось им только вытерпеть, выдюжить все операции и послеоперационные мучения и после

пойти на поправку, на выздоровление. Врачи-то вон какие умельцы: зашьют, заштопают все ранения, соберут бойца по косточкам и все-таки поставят его в строй, потому как там, на полях сражений, в окопах и траншеях, бойцов этих всегда край как не хватает. Но на этот раз не получилось, не собрался солдатик с последними силами – помер, и вот уже его опустевшую койку занимает и второй, и третий, и четвертый, и так до самого конца войны, да еще и не один год по ее окончании...

Почти половину свечей израсходовал Николай Петрович, а список его был только в начале. Конец же его уходил необозримо далеко и даже дальше этого далека, по несколько раз опоясывая, наверное, всю Землю, поднимаясь и над ней в лазурно-голубое небо, но и там ему не было обрыва. Николай Петрович растерялся от столь бесчисленного ряда погибших на войне людей, несколько минут стоял перед святым Распятием совсем не так, как положено стоять богомольцу, с крепкою молитвою на устах, а по-мирски, в изнеможении и испуге, опершись обеими руками на посошок. Но потом он все-таки обрел какие-никакие силы, распрямился и решил положить конец этому ряду. Николай Петрович вдруг вспомнил только вчера умершего в Волфино старика-матроса, который, может быть, еще и не похоронен, и определил – пусть он будет последним. Нарушая запрет старика – не молиться за него, пролившего столько своей и чужой крови, Николай Петрович все-таки стал молиться, просить у Бога, чтоб про-

стиль безумному старику и эту кровь, и это отречение...

Молитва далась Николаю Петровичу трудно. Рука его то высоко возносилась к разгоряченному лбу, то в изнеможении падала и замирала на груди, как будто кто невидимый придерживал ее, не давая довершить крестное знамение. Николай Петрович едва не поддался этой зловещей силе, которая подступила к самому сердцу, зашатала его, как, случилось, не раз шатала во время грудных приступов, корежа и отнимая последнее дыхание. Но потом Николай Петрович все же одолел ее. Он поставил перед иконой еще одну свечу, крепче сжал пальцы и начал молиться не только за упокой души старика-матроса, но и за упокой собственной души, словно он тоже был уже мертвый. Так молиться, наверное, не полагалось, но он все молился и молился, беря на себя часть пролитой стариком крови, хотя он и сам за четыре года войны немало ее пролил, и своей, и чужой. И покаянные его слова были услышаны: темная, воронья сила отступила, а светлая, ангельская и лебединая, обняла Николая Петровича со всех сторон, повелевая ему еще жить и не впадать в уныние.

Николай Петрович подчинился ей и, возвратясь назад к иконе Божьей Матери, зажег первую заздравную свечу, вспыхнувшую каким-то совсем иным, стойким и бестрепетным огнем, даже зримо отличимым от огня поминального. Тут уж он прежде всего пожелал здоровья и во всем благополучия Соне. Пусть все у нее будет хорошо и ладно в жизни,

ну а коль настанет ее последняя минута, так пошли ей Бог легкой и мгновенной смерти, такой, какую она не раз видела в молодые свои годы в бою, когда сраженный пулей боец за-мертво падает на землю, не успев даже вскрикнуть и почувствовать боли. Кто из стариков не мечтает о такой смерти? Ведь в преклонные годы человек боится не столько ее самой, сколько болезней и мучений, которые вконец изведут и болящего, и всю родню: детей, внуков, правнуков.

Отмолвившись за Соню, Николай Петрович приступил к самой ласковой своей молитве – за Марью Николаевну. Вот уж кто истинный его Ангел-Хранитель, так это она. Никакому счету не поддается, сколько раз спасала его Марья Николаевна, ставила полуживого на ноги, поднимала к жизни, начиная с той слякотной послевоенной осени, когда он от тяжелых своих ранений совсем уже впал было в отчаяние. Сохрани ее Бог и помилуй, дай доброго здоровья и долгих лет жизни! За каждым словом Николай Петрович с удвоенным и утроенным усердием осенял себя крестом, низко, земно кланялся Божьей Матери и маленькому ее сыну, Иисусу Христу, просил их за Марью Николаевну. Конечно, тут надлежало бы прочесть за здоровье жены особую молитву, которая непременно, наверное, есть, должна быть, но Николай Петрович, опять-таки по непросвещению и неведению, не знал ее, а поэтому лишь крестился и кланялся, повторял свои просьбы. Свеча, зажженная во здравие Марьи Николаевны рядом со свечой Сони, пламенела незатухаемо ярко и стойко, укреп-

для Николая Петровича в надежде, что слова его услышаны и что Марья Николаевна пребывает в бодрости тела и духа. Николай Петрович даже на какое-то мгновение забылся и не заметил, как его снова повело в воспоминания, в первые совместные их с Марьей Николаевной годы жизни, когда только родились один за другим дети. Счастливей дней у них, наверное, и не было... Но на этот раз Николай Петрович перед воспоминаниями устоял, хотя и жалко ему было расставаться с таким радостным видением – с молодой Марьей Николаевной, с Машей.

И все же он расстался, погасил воспоминания крестным знаменем и поклоном. Отца с матерью Николай Петрович вспомнил, молясь за их упокой, и это воспоминание было на месте. Он словно заново увидел их, попросил у каждого прощения, подкрепил памятью не больно стойкую, почти бессловесную свою молитву. А с Марьей Николаевной он, даст Бог, скоро встретится; они сядут рядком за празднично прибранным столом, может быть, даже с бутылочкой хорошего вина, кагора, и тогда уж вволю наговорятся, заздравно навспоминаются.

Но обнаружилась и еще одна причина, по которой Николай Петрович вынужден был поторопиться. Церковь уже опустела, последние богомольцы ушли, и под ее сводами и куполами остался только один Николай Петрович да знакомец его, старик-причетник. Николая Петровича он, правда, не понукал, был занят своими церковными делами: ровнял,

складывал в штабелек лежавшие до этого россыпью на прилавке свечи; поправлял развешанные по стенам маленькие иконки, ладанки и нательные крестики; вытирал специально заведенным лоскутком Евангелия и молитвенники и при этом все время что-то шептал и шептал в седые, посеребренные усы и бороду. Николай Петрович догадался, что это старик молится, произносит приличествующую этим своим деяниям молитву. Он позавидовал его знаниям, замер с очередной, не зажженной еще свечой в руках и вознамерился было подойти к старику поближе, чтоб получше расслышать, понять его шепот и хоть чему-то научиться в молитвах. Но потом Николай Петрович все же удержал себя. Во-первых, он не посмел нарушить уединенное моление старика, а во-вторых, подумал, что действительно надо поторапливаться, завершать свое паломничество и не испытывать терпение старика бесконечно. Он тут при службе и молитве, небось, с самого раннего утра, а то еще и с ночи, и ему тоже нужен покой и отдых. При его летах такая усердная служба, наверное, дается нелегко. Николай Петрович вон побыл в церкви всего какой-то час-полтора, а и то уже все чаще и чаще опирается на посошок.

Николай Петрович поспешил зажечь свечу от незатухающе горящей перед иконой Девы Марии лампадки и начал молиться за детей, Володьку и Нину, за внуков, чтоб все были живы-здоровы, хорошо учились в школах и институтах, во всем слушались старших. Он опять чуть-чуть увлекся и поз-

волил себе подумать о том, что по возвращении домой надо будет обязательно написать детям письмо, чтоб они приехали на лето, погостили. А то что-то давненько, ох как давненько, не собирались все вместе. Вот уж будет случай из случаев рассказать Николаю Петровичу о своем паломничестве, о поездке в Киево-Печерскую лавру, в ее святые церкви и пещеры. Володька и Нина слушать его всегда умели, а внуки, даст Бог, научатся, молодые еще, несмышленные...

И вдруг Николай Петрович прервал свою молитву-мечтание и оглянулся назад, на входную дверь, где слышались какие-то приглушенные (но сразу можно было понять, не церковные) разговоры, шорохи и как бы даже отголоски только недавно, за порогом смолкнувшего смеха. В церковь входила в сопровождении экскурсовода стайка туристов. Похоже, как раз тех, увешанных фотоаппаратами и сумками, которых Николай Петрович встретил у широко распахнутых ворот Лавры. Экскурсовод, совсем молоденькая симпатичная девчушка, остановила их неподалеку от Николая Петровича и, показывая рукой то на одну, то на другую икону, начала рассказ. Занятый своими делами и мыслями, Николай Петрович долго никакого внимания на туристов не обращал, не прислушивался ни к словам девчушки, ни к возбужденно-праздному говору экскурсантов. Он только отметил про себя, что девчушка, несмотря на мирское занятие, вошла в церковь, как и положено женщинам, с покрытой косыночкой-платочком головой, а ее подопечные, не знающие пра-

вославного обычая, кто как: женщины в большинстве своем простоволосые, мужчины же через одного в смешных каких-то, легкомысленных кепчонках и шляпах. И вдруг Николаю Петровичу показалось, что иноземный их говор ему во многом понятен, что он и раньше не раз слышал эту отрывистую, жесткую речь. Влекомый любопытством, Николай Петрович сделал в сторону туристов шаг-другой, и действительно все сошлось: говорили они на немецком, памятном любому фронтовику языке. Несколько раз Николай Петрович уловил в переговорах туристов с девчушкой и вовсе знакомые ему слова: шнель, шнель, муттер, фатер, хох и еще множество других, оказывается, навсегда засевших в его памяти. Теперь Николай Петрович внимательней оглядел всю толпу туристов, людей самого разного возраста, от совсем еще незрелых детей-подростков до заметно пожилых, седовласых. Особо выделил он из толпы одного старика в светло-сером, тщательно отутюженном костюме. Был он высокий, худой, по-военному строгий и подтянутый; крупную седую голову старик тоже держал высоко и прямо. Его нетрудно было представить в военном мундире с окаймленными белой лентой солдатскими или с витыми офицерскими погонами на плечах. Подозрение, что этот старый, восьмидесятилетний немец тоже фронтовик, еще больше усилилось у Николая Петровича, когда он увидел у него в руках красивую, причудливо гнутую в рукоятке палку. Во время перехода туристической группы с одного места на другое, от

одной иконы к другой старик, зримо припадая на правую, должно быть, когда-то раненную ногу, всем телом опирался на нее. Николай Петрович невольно посочувствовал ему, по своему опыту зная, как это бывает тяжело – передвигаться, когда старое ранение вдруг дает о себе знать к перемене погоды или к какому-либо иному случаю (вдруг забудешься да поднимешь что-то совсем неподъемное или в горячке вздумаешь подбежать куда). Тут уж никакой посох, никакая самая завидная палка не помогут. Похоже, у старика-немца сейчас был именно такой случай. Дальний переезд или перелет даром ему не дались: нога вспыхнула давней огнестрельной болью, стала подламываться, и старик теперь не рад, что пустился в это опасное для его ранения путешествие. Николай Петровича он тоже заметил и несколько раз исподтишка, но пристально поглядел на него, как бы в свою очередь примеряясь, воевавший или не воевавший по возрасту нищий этот русский мужик в лаптях и телогрейке, которые, оказывается, в России еще носят. Николай Петрович взгляд немца перехватил и легко выдержал его: в древнем отеческом храме, под намоленными куполами и иконами он себя нищим и обездоленным не чувствовал. Наоборот, нищим и слабым духом чувствовал и осознавал себя немец, как он осознавал себя и в те годы, когда был противником и врагом Николая Петровича, иначе чего бы ему так исподтишка, воровато смотреть на бывшего русского солдата, которого он так и не сумел одолеть, хотя тот и в войну не раз, случалось, ходил

в рваных ботинках с обмотками, а то и в лаптях. Больше никакого интереса старик-немец у Николая Петровича не вызвал: раны у них пусть и одинаковые, но болят все ж таки по-разному. От этого никуда не денешься, и хорошо, что немец это, кажется, понимает.

Оглянувшись на монаха-причетника, Николай Петрович заметил, что и тот никакого внимания на туристов не обратил. Он по-прежнему занимался своим делом, с молитвою и усердием приводил в порядок после утренней службы свечной уголок, хорошо зная, что богатые эти немецкие туристы вряд ли купят у него православную икону или свечу, а если и купят, то праздно, без должного сокровения. Не привлек его любопытства и старик-немец, хотя монах, конечно, и заметил фронтовое его увечье. Это Николаю Петровичу все в диковинку: он с той, военной поры ни одного живого немца в глаза не видел, а причетник за долгие годы служения в храме насмотрелся и на немцев, и на итальянцев, и на мадьяр с румынами, которые тут у нас, на русской земле, тоже оставили о себе недобрую память. Может, с кем из них довелось ему и говорить, и он из тех разговоров вынес, что покаяния они как не ведали, так и не ведают поныне. Ведь если бы ведали и обрели его, то не стали бы столь поспешно отрекаться от послевоенного товарищества с Россией, не стали бы повсеместно разрушать и сносить памятники советским бойцам, которых сами тогда почитали за освободителей. Ну да Бог им судья...

Николай Петрович поблагодарил в душе причетника за побратимство и верность фронтовой присяге и, отойдя от праздно созерцающих убранство церкви туристов в глубь и сумерки амвона, опять вернулся к прерванным своим молениям. Он отыскал икону святого Ильи-Исцелителя, зажег свечу и, как умел, помолился за всех болящих и хворых. Начал он со слабой и все слабеющей умом волошинской женщины Маньки, вечной дежурной при всех колхозных председателях. Потом Николай Петрович присовокупил к ней старенькую вдову-пастушку, указавшую ему дорогу в Красное Поле. У этой, поди, хворей накопилось с самой войны, не счесть. Попробуй столько выработать в колхозных полях, столько посеять, прополоть, сжать и вымолотить, сколько сжала и вымолотила она, так тут все, какие ни есть в мире, хвори пристанут к тебе. Но старушка не поддается им, работает и теперь: в весенне-летнюю пору жара не жара, дождь не дождь, а она ежедневно в лугах и выгонах, пасет-обихаживает неугомонное козье стадо, последнюю свою опору и надежду; зимой же, в стужу и холода, вяжет пуховые платки да тем и продлевает себе жизнь. Так что помоги ей, святой Илья-Исцелитель, в борениях за эту жизнь, не дай совсем расхвораться и залечь пластом на остывшей печке. Поддержки ей в одичавшем и обезлюдевшем селе ждать не от кого. Одна надежда на тебя да на Бога.

Здесь же, возле иконы Ильи-Исцелителя, зажег Николай Петрович свечу и за избавление от хворей, за здоровье моло-

деньких, только-только вернувшихся с новых войн увечных солдат, которых он встретил в райсобесе. Этим тоже при нынешнем повсеместном разорении и бездушии особо ждать помощи не приходится. Дадут не больно хлебную инвалидную пенсию, да и живи на нее как хочешь. Попервости, конечно, будут почитать их, называть героями, писать в газетках, показывать по телевизору, а потом все постепенно и забудется. И недалеко то время, когда какой-нибудь беспмятный начальничек, на тех войнах не бывший, удачно от них скрывшийся, скажет им, постаревшим и немощным: «Я вас туда не посылал!» Николаю Петровичу, воевавшему на войне всемирной, Отечественной, и то приходилось подобное слышать, а уж им и подавно. В молитве им только и спасение.

Вконец изболевшись душой от горестных своих, неутешных мыслей, Николай Петрович перешел к другим иконам, зажег возле них новые свечи и стал поминать за здоровье всех, кому давал обещание. Тут первым явился Мишка-тракторист, пьяный и беспутный, а все ж таки божеский, теплокровный человек, за которого, может быть, никто никогда в жизни и не молился. Оттого он такой и неприкаянный. Вслед за Мишкой встали заблудшие странники Симон и Павел, а рядом с ними – чистая душа, певучий кручинный мужик, потом пограничные волфинские грабители, позарившиеся на сапоги Николая Петровича.

Вспомнив о сапогах, он вдруг подумал о них совсем как о живых существах, о людях. Никакой их вины в том, что

достались они человеку злобному, татю ночному и разбойнику, нет, так пусть носятся долго, нигде не жмут, не натирают ноги, зимой, в мороз и стужу, пусть крепко держат тепло, а в распутицу, дождь и слякоть, не промокают. Глядишь, этот тать и разбойник и помянет Николая Петровича добрым словом, мол, какими хорошими обутками наделил его старик-москаль, злостный нарушитель границы. А коль помянет, то и сам пообреет душой, засовестится. Дай только ему Бог здоровья дожить до светлых этих минут.

Дальше шли у Николая Петровича проводницы, кассирши на всех вокзалах, помогавшие ему добраться до Киева, усаженный курский милиционер, волфинская старушка, безденежно накормившая подозрительного старика с русской стороны таким вкусным пирожком, потом молодой парень-шофер, Сережка, опять-таки безвозмездно домчавший его до города Ворожбы на машине «Газель». Не забыл Николай Петрович и всех пассажиров в Бахмаче и киевской электричке, подавших ему по силе возможности, кто сколько смог, на Божий храм и поминовение. Этим особый поклон и особая заздравная свеча.

Наконец настала Николаю Петровичу минута совершить обещанную молитву за цыган. Он вернулся еще раз к иконе Божьей Матери, как ему и указал причетник, зажег бережно хранимую большую свечу и в точности исполнил все наказы бахмачского цыгана. Он так и сказал:

– Особо молюсь за цыганское бесприютное племя. Дай им

Бог хорошего кочевья, тепла и богатства, честных гаданий. А всем нам дай сил научиться жить так, как живут они, – в единстве, любви и взаимности.

И молитва его была услышана. В церкви вдруг наступила какая-то надмирная тишина; все поставленные Николаем Петровичем свечи, и заупокойные, и заздравные, вдруг вспыхнули ярким пламенеющим светом; тот свет озарил намоленные древние иконы радужным неземным сиянием, и Николаю Петровичу вдруг показалось, как будто все святые лики охранно склонились к нему и подтвердили его молитву:

– Истинно так!

Он застыл в немоте и изумлении и долго стоял, ничего не видя и не слыша вокруг: слова эти вошли в самое сердце, полонили его, заставили биться и трепетать. С трудом сделал Николай Петрович шаг к иконе Иисуса Христа, к Распятию, и тут вдруг, сам не зная, как это случилось, упал перед ней на колени, склонил голову к полу и зашептал покаянные и единственно, наверное, требуемые в храме слова:

– Прости нас, Господи!

Тишина от этих покаянных его слов еще больше упрочилась, заупокойные и заздравные свечи воспламенились еще ярче, а старое, изболевшееся сердце Николая Петровича зашло в непереносимой тоске и боли.

– Прости нас и помилуй! – коленопреклоненно повторил он.

И в надмирной тишине, в радужном сиянии свечей опять

прозвучало:

– Истинно так!

... Привел Николая Петровича в память причетник. Он невидимо подошел к нему, тронул за плечо и с участием спросил:

– Не худо ли тебе?

– Худо, – чистосердечно признался Николай Петрович.

Ему действительно было худо. Молитва его на этот раз хоть и вознеслась высоко, под самые купола церкви, хоть и была услышана, а вот была ли принята, он не знал. Ведь и у самого Господа, наверное, не хватит сердца, чтоб простить неразумных земных людей за все, что они натворили в жизни.

– Пойдем на свежий воздух, – между тем поднимал его с колен причетник. – Подышишь.

Николай Петрович послушался его. Опираясь, где на руку причетника, а где на оброненный было посошок, он поднялся на ноги и пошел к двери, невольно потеснив в сторону немцев-туристов, которым в эту минуту тоже вздумалось выходить из церкви. Они чуть испуганно отпрянули к стене и пропустили двух устало бредущих стариков. Но едва те миновали дверь, как туристы опять о чем-то заволновались на тяжеловесном своем, каменно-жестком наречии, и в том волнении Николаю Петровичу слышались все те же знакомые ему еще с военно-фронтового времени слова: «Шнель, шнель!». Относились они не к нему и не к старику-причет-

нику (туристы обсуждали что-то свое, только им ведомое и интересное), но Николай Петрович все равно, сколько было возможности, ускорил шаг: нечего ему слушать праздные их разговоры, да и не до того, ноги вон совсем отяжелели, обмякли, не слушаются, не повинуются, причетник, считай, несет его на своих плечах.

На свежем воздухе у подножья церкви старик усадил Николая Петровича на лавочку и обеспокоенно склонился над ним:

– Может, тебе водицы?

– Неплохо бы, – поблагодарил его Николай Петрович и, совсем ослабевая, затих на скамейке.

В груди его послышались хрипы и клокотание, верные предвестники приступа. Воздух, словно натываясь на какую-то преграду, с трудом заполнял легкие и с еще большим трудом выходил обратно. Самого приступа Николай Петрович не страшился: не первый он и, возможно, не последний, как-либо выдюжит, было только обидно, что подступает он не ко времени, ведь нельзя же Николаю Петровичу помереть, так и не побывав в пещерах, не помолившись там святым мощам. Да и почему, по какой причине быть приступу? Не от коленопреклоненной же молитвы Николая Петровича он приключился!

Причетник тем временем принес водицы в настоящем берестяном ковшике, опоясанном по краешку старинной буквенной вязью.

– Вот, испей, – протянул он его Николаю Петровичу.

Тот принял ковшик бережно, осторожно, почему-то очень боясь пролить хоть каплю воды. С вниманием и предосторожностью, словно какой-то драгоценный, хрустальный сосуд, он и вернул ковшик причетнику.

Конечно, Николаю Петровичу надо было бы достать из целлофанового мешочка таблетку, чтоб остановить приступ в самом начале. Но ему не хотелось, неловко было смущать причетника, который при виде таблеток, лекарств совсем обеспокоится, начнет звать кого-нибудь на помощь. Даст Бог, обойдется на этот раз и без таблеток, водица вон какая, ключевая и сладкая, она лучше всяких лекарств и докторов.

Николаю Петровичу и вправду вскоре полегчало. Затуманившаяся было, пошедшая кругом голова просветлела, окрепла, помалу наладилось, окрепло и дыхание; в груди не слышалось больше ни хрипов, ни kloкотания, ни тоскливого, похожего на зимний сквозняк посвиста, который всегда так пугал Николая Петровича.

В сладостной истоме и облегчении он посидел на лавочке еще несколько минут, а потом взялся за посошок. Причетник заметил это его движение и попробовал остановить:

– Ты не поспешай, отдохни.

– Некогда, – все же не послушался его Николай Петрович. – Мне еще в пещеры надо.

– В другой раз сходишь, – продолжал уговаривать Николая Петровича причетник, не очень доверяя излишне бодро-

му его виду.

– Другого раза может и не быть, – немного помолчав, ответил тот.

– И то правда, – согласился с ним причетник, цепко, вприщур окидывая взглядом всю шатающуюся на ветру фигуру Николая Петровича.

На их стариковские переговоры обратили внимание туристы, наконец вышедшие из церкви на свежий воздух. Поджидая кого-то отставшего, они сгрудились вокруг экскурсоводши. Несколько человек, отвлекаясь от разговора с ней, нацелились на Николая Петровича и причетника фотоаппаратами. Причетник, судя по всему, был к этому хорошо привычен и никак не откликнулся на их прицеливание, а Николай Петрович поднял голову, усмехнулся про себя и незлобиво подумал: фотографируйте, ребятки, фотографируйте, то-то будет вам память о России. Два полоумных старика: один – монах, в рясе и клобуке, а другой и того похлеще – в лаптях и телогрейке, да еще и с холщовым мешком за плечами. Нигде, ни в каких Европах такого зрелища не увидишь и ничего в том зрелище не поймешь.

Отставшим оказался хромой немец-фронтовик. К удивлению Николая Петровича, к стайке туристов он не подошел, а заковылял к лавочке, что стояла неподалеку, под молодым каштаном. Уподобясь Николаю Петровичу, он устало присел на ней и оперся подбородком на крючковатую свою палку. Может, тоже прихватило дыхание или сердце в сумрачной,

не нужной ему церкви. Старику бы поднести сейчас водицы из берестяного ковшика, отпить – даст Бог, и ожил бы. А ожив, объяснил бы неразумной молодежи, что за странники перед ними, что за привидения. Уж он-то кое-что знает о них, кое-что понял. Но не в сорок первом году, когда шел на Россию ордой и нашествием, сжигая и разоряя все вокруг, а много позже, в сорок четвертом и сорок пятом, когда бежал из нее, окровавленный и побитый, в своей фатерлянд. Может, и тут, в Киеве, а то и в самой Лавре, оставил он неизгладимый след, потому сейчас ему и нездоровится, прихватывает сердце.

– Подай водицы побратиму, – указал Николай Петрович причетнику на совсем опавшего подбородком на палку немца.

Причетник посмотрел на него так же вприщур, дальнозорко, как глядел только что на Николая Петровича, минуту помедлил, а потом, смахнув с ковшика невидимую соринку, нацелился под каштан, к лавочке. Но прежде чем уйти, дал последний совет Николаю Петровичу:

– В пещерах не застудись, там прохладно.

– Так я в телогрейке, – тоже в последний раз улыбнулся ему Николай Петрович и поспешно побрел к часовенке, возле которой был обозначен вход в Ближние пещеры.

Ступая по старинной брусчатке с одного камня на другой, Николай Петрович дал себе зарок не оглядываться ни на туристов, все еще толпившихся вокруг экскурсоводши, ни на

одинокое сидящего под каштаном старика, ни даже на монаха-причетника. Душой он был уже в святых пещерах, возле мощей и икон, молился перед ними самой крепкой покаянной молитвой. И все же на повороте зарока своего и обещания не сдержал – оглянулся. Туристы все так же кучились стайкой у церковной двери, что-то обсуждали, не обращая особого внимания на отбившегося от них старика, а причетник уже стоял перед ним и терпеливо выжидал, пока тот напьется из берестяного затейливого ковшика, где воды, помнится, осталось ровно половина. Николай Петрович представил, как за каждым глотком холодной, зачерпнутой монахом из ключевых пещерных глубин воды старику становится все лучше и лучше, вздохнул и завернул за угол.

Пещеры он прошел все, и Ближние и Дальние, от начала до конца, и всюду ставил свечи и без усталости молился, молился и молился. Но ему почему-то казалось, что молитвы его некрепкие, суетные: едва долетев до пещерных сводов, они падают вниз, на камни, и разбиваются о них, никем не услышанные и не принятые. Николаю Петровичу опять стало худо, и не столько немощным, изношенным телом, сколько душой и сердцем, тоже, оказывается, совсем немощными и изношенными. Он растерялся, заглядывался по сторонам, в забытии ища глазами причетника, который так вовремя подоспел ему на помощь. Но того не было, и рассчитывать на его участие Николай Петрович не мог: причетник обихаживал сейчас, отпаивал водой старика-немца и, небось, не ве-

дал, как нужен он в эти минуты Николаю Петровичу.

Бог знает, какая беда могла бы приключиться, да уже почти и приключилась, с Николаем Петровичем, если бы он вдруг не оторвал голову от камней и не увидел перед собой Распятие. И словно кто подсказал ему, шепнул на ухо – пади опять на камни, склони голову и молись перед ним с покаянием и надеждой.

– Господи, прости нас и помилуй! – все в точности и свершил Николай Петрович.

И то ли пещерная его молитва была крепче и искренней церковной, надземной, то ли проступила и возвысилась в ней надежда, но истомленным донельзя сердцем Николай Петрович почуял, что прощение ему и всем людям если не дано, то хотя бы обещано. Крестьясь и все светлея и светлея душой, Николай Петрович стал подниматься с колен, а когда поднялся и в последний раз глянул на скорбный лик Спасителя, то вдруг увидел в его глазах ответное изумрудно-чистое сияние. Никого рядом с Николаем Петровичем не было, и никто больше этого сияния не видел и не мог подтвердить, истинно ли оно случилось или только причудилось пришедшему Бог ведает из каких мест страннику...

Тая в ослабевающей груди дыхание, Николай Петрович несколько минут постоял еще перед иконой Спасителя, а потом тихо перекрестился и побрел на выход, с трудом определив, где он, в какой стороне.

Как Николай Петрович поднимался по крутым ступень-

кам и брусчатке к воротам Лавры, он не помнил. Может, кто помог ему, подсобил по чистоте душевной и состраданию, а может, добрел и сам, крепясь верой и отрадой, что все моления свои исполнил, да еще и был награжден таким видением, такой надеждой на прощение заблудших и нераскаявшихся земных людей, от которой душа трепещет и никак не в силах прийти в себя.

Не помнил Николай Петрович и как добирался до метро по песчаной обочинке тротуара под птичий щебет в придорожных гаях и парках. Осознал он себя лишь при самом спуске в подземелье и тут вдруг нежданно-негаданно заблудился. Многолюдная толпа подхватила его, закружила в своем водовороте вначале по неостановимо бегущим эскалаторам, а потом по вагонам и вывела совсем не туда, куда он хотел: не к железнодорожному вокзалу, а к какому-то саду, больше похожему на лес. Николай Петрович собрался было повернуть назад, опасаясь заблудиться еще больше, но, войдя под высокие, ажурной вязи и поковки ворота, изумился небывалой красоте этого городского леса, его непроходимым чащобам и светлым полянам и двинулся вместе с толпой по широким аллеям, решив все тут разведать, разузнать, поглядеть собственными глазами, чтоб дома, в Малых Волошках, можно было рассказать не только про Печерскую лавру, не только про реку Днепр, но и про этот, поистине райский сад.

Разглядывая и примечая все вокруг, Николай Петрович шел себе и шел, постукивая посошком, и вдруг на полшаге

замер и запрокинул голову на широкое полотнище, перетянутое через дорогу, где аршинными буквами было написано: ХАЙ ЖИВЭ 9-тэ ТРАВНЯ -ДЕНЬ ПЭРЭМОГЫ!

Без особого труда перевел Николай Петрович этот призыв на русский язык:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 9-е МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ! – и прямо-таки возликовал: ведь действительно через пару дней Девятое мая – День Победы, самый главный его праздник. Как же это Николай Петрович упустил из виду!? Хотя и то надо сказать, не от беспамятства случилось подобное упущение. Занят был он делами великими: молился, как позволяли силы и возможности, за всех страждущих и заблудших, как и было то ему велено в ночном видении. Не забыл Николай Петрович в своих молитвах и фронтовых друзей-товарищей, победителей, так что пусть они его простят за невольную оплошность.

Толпа обтекала Николая Петровича со всех сторон, а он все стоял и стоял перед полотнищем, все любовался красно-алыми его торжественными буквами, все повторял про себя полюбившиеся ему слова родственного языка: «ДЭ-В'ЯТЭ ТРАВНЯ – ДЭНЬ ПЭРЭМОГЫ».

– Да здравствует День Победы! – по-своему, по-фронтовому откликнулся на них Николай Петрович и, как в церкви во время молитвы, трижды поклонился красному полотнищу, немало, кажется, удивляя этим своим поклоном молодых ребят и девчушек, как раз пробежавших мимо него ве-

селою птичьей стайкой. Ничего, пусть удивляются, пусть бегут в беспечности по своим неотложным делам, но придет время и, повзрослев, сами тоже замрут перед подобным полотнищем и будут долго стоять у его подножья, склонив головы. Только не забыли бы это полотнище вывесить их дети и внуки!

Николай Петрович помедлил еще минуты две-три посредине тротуарной дорожки, послушал, как полотнище трепещет на весеннем ветру, напоминая трепет победного боевого стяга, и двинулся дальше, в глубь сада, хотя ему, наверное, надо было бы повернуть назад, чтоб до сумерек, до ночной темноты выбраться к вокзалу. Но многолюдная ухоженная дорожка поманила, повела Николая Петровича за собой, и он не удержался, пошел по ней вслед за далеко убежавшей молодежью, словно за сказочным клубочком, который, сколько ни иди за ним, все будет катиться и катиться впереди тебя.

Теперь Николай Петрович стал повнимательней наблюдать за попутным и встречным движением и вскоре обнаружил, что среди этого движения, среди по-городскому нарядно приодетых людей хотя и не густо, но все-таки попадаются его ровесники, уже предпразднично при орденах и медалях. Николай Петрович догадался, что это они, должно быть, где-то тут, в саду, собираются на ежегодную свою фронтovou встречу, и по-хорошему позавидовал им. В большом столичном городе фронтовиков сохранилось еще много, не то что

в Малых Волошках, где на сегодняшний день уцелел только один Николай Петрович. А бывало, и у них фронтовики собирались на День Победы вначале в клубе, чтоб послушать приветственно-величальные речи начальства и пионеров-школьников, а потом шли на кладбище, к братской могиле, где похоронены солдаты, погибшие в окрестностях Малых Волошек при отступлении наших войск в сорок первом году и после, в сорок третьем, когда фронт уже неостановимо продвигался в обратную сторону, к границам. У подножья памятника-могилы фронтовики расстилали поминальные скатерти, выставляли на них всякую снедь. Но прежде чем выпить первую скорбную рюмку, кто-нибудь из женщин, солдатских вдов, зачитывал список всех погибших в войну волошинцев. Такой у них завелся с давних, сороковых еще годов обычай. Список был длинным и тяжелым – более ста человек.

С каждой весной народу у могилы собиралось все меньше и меньше, а в прошлом году Николай Петрович пришел на кладбище в одиночестве, сопровождаемый Марьей Николаевной. Кроме него в живых оставался из фронтовиков только Сергей Вещиков, но совсем уже больной, прикованный к кровати, добраться он до кладбища не мог, да и не до того ему было – сам уже готовился, как говорят в Малых Волошках, под березы. К осени он и помер. Солдатских вдов тоже пришло совсем мало, по пальцам можно пересчитать. И все немощные, хворые. Список, передавая друг дружке из рук в

руки, прочитали с трудом.

Но что об этом попусту скорбеть: время не остановишь, не повернешь вспять. Главное, чтоб молодые не забывали погибших своих отцов-дедов, солдатских вдов, которые как-то незаметно, одна за другой, ушли, истаяли, словно поминальные свечи.

Николай Петрович представил, что сейчас, в канун праздника, творится в Малых Волошках. Братскую могилу, конечно, уже убрали, подновили вокруг штакетник, поставили в баночках с водой цветы – подснежники или ранние лютики, и теперь краснопольский председатель сельсовета и школьные учителя не дают Марье Николаевне прохода, все спрашивают, куда это подевался Николай Петрович, последний волошинский фронтовик, без которого какой же праздник – День Победы. Огорчать их Николаю Петровичу никак нельзя, надо поторапливаться с возвращением из дальнего своего богомольного похода. Марья Николаевна дома уже начистила все его ордена-медали тертым кирпичом и мелом и теперь ждет не дождется, когда он их приладит на пиджак, чтоб пройтись по селу во всей красе. Орденков тех и медалей у Николая Петровича не больно много, но все же есть. Юбилейные, с затейливыми картинками и изображениями, понятно, не в счет – они в основном по возрасту дадены, за долгожительство да в память о войне. А вот фронтовые – это да! Эти заслужены честь по чести, чего уж тут прибедраться.

С левой стороны груди Николай Петрович первым делом

прикрепит орден Славы третьей степени; потом две медали «За отвагу» и одну за взятие Варшавы; с правой – орден на Красной Звезде и Отечественной войны, а уж под ними можно поместить и блестящие юбилейные значки.

Размечтавшись о скором возвращении домой и празднике, Николай Петрович не заметил, как потерял из виду юркую молодежь, укатившуюся клубочком куда-то в лесную чащобу, и теперь путешествовал по саду, который назывался Ботаническим, в одиночку, сам по себе. Несколько раз Николай Петрович переходил через какие-то кладки и мосточки, поднимаясь все выше и выше на взгорье, и наконец очутился уж в поистине райском месте – в зарослях цветущей сирени. Каких тут только не было соцветий: и кипенно-белые, воздушные, и далеко видимые розово-красные, и посеребренные, прозванные, кажется, персидскими, и совсем уж темные, почти черные, каких Николай Петрович ни разу в своей жизни еще не видел. Очарованный такой небывалой красотой, Николай Петрович, словно какой лунатик, все кружил и кружил по сиреневым аллеям, которые то опоясывали разноцветной ленточкой овражные обрывы, то выстраивались стройными рядами по террасам и склонам, то вдруг срывались и бежали куда-то вниз, к асфальтной дороге. И чем больше Николай Петрович кружил, тем больше шла обручем, плыла у него, все наполняясь и наполняясь весенней легкостью, голова. Несколько раз Николай Петрович попробовал было остановить это кружение, но у него ничего не по-

лучилось – голова совсем затуманилась, а все тело занемогло от сладкой истомы. Николай Петрович перестал бороться с сиреневым этим опьянением, а только почему-то вдруг подумал, что не зря, видимо, постоянно ходят рядом, а иногда так и совпадают два самых великих на земле праздника: Пасха, Великдень, и День Победы. Почему именно сейчас это пришло ему в голову, Николай Петрович объяснить не мог, но почувствовал, что в сиреновом раю, куда он так неожиданно-негаданно попал, его, словно два Ангела, согревают теплом эти два праздника-торжества. И пока они в единстве и сплочении, Николаю Петровичу ничего не страшно и ничего плохого с ним по век жизни не случится. Вот покружит он еще немного по саду, полюбуется его красотами, а потом, расспросив у местных жителей, как лучше всего добраться до вокзала, распрощается с нагорным городом Киевом, с его великими святынями и как можно скорее уедет домой, в Россию, в Малые Волошки, где без него День Победы будет неполным.

Николай Петрович и вправду еще немного походил, поблуждал по сиреневым зарослям и аллеям, сладостно потонул душой и телом, так и не сумев смирить легкое весеннее кружение головы. Но вот он облюбовал себе укромное местечко под широко и вольно раскинувшим ветви дубом. Сняв мешок, Николай Петрович расположился у самого его ствола на мягкой садовой траве, еще не набравшей летней силы и жесткости. Сидеть было покойно и удобно, особенно

если прислониться спиной к стволу столетнего дуба. Николай Петрович и прислонился, и начал даже помаленьку задремывать, теряя перед собой очертания и деревьев, и людей, которые точно так же, как и он минуту тому назад, кружили по сиреневым террасам и аллеям, любовались и никак не могли налюбоваться райской их красотой.

Пробудил, не дал Николаю Петровичу окончательно провалиться в сон заигравший где-то неподалеку оркестр. Николай Петрович вскинул голову и действительно увидел чуть в стороне от себя, под таким же раскидистым дубом и этот оркестр, и десятка полтора фронтовиков при орденах и медалях, у которых тут и было назначено место встречи. Николаю Петровичу захотелось подойти к ним, присоединиться к их торжеству и празднику, послушать, как оркестр играет военные нестареющие песни, вальсы и марши, а потом и выпить с ребятами, среди которых вполне даже может отыскаться кто-либо из его однополчан, по рюмочке водки, по сто фронтовых наркомовских граммов. Укрепляя в себе это решение, Николай Петрович стал подниматься, стал придумывать первые слова, которые скажет ребятам, чтоб получилось по-хорошему, по-фронтовому, и когда уже почти поднялся, то вдруг прямо перед собой увидел храм Святой Софии, всеми своими куполами нависающий над садом и над ним, Николаем Петровичем, заблудившимся в этом райском саду. Запоздалая обида кольнула его в самое сердце: как же это так он, очарованный Киево-Печерской лаврой, ее церк-

вами и пещерами, забыл, что ему непременно надо помолиться еще и в соборе Святой Софии, иначе его паломничество будет неполным и несовершенным. Оставляя на потом свое братание с фронтовиками, Николай Петрович решил немедленно идти туда. Он сделал первый, как ему показалось, очень твердый шаг и, занеся вперед посошок, собрался было сделать второй, но в эту секунду что-то опять нестерпимо больно кольнуло его в сердце, закружило голову, и Николай Петрович начал падать на землю лицом к восходу, к собору Святой Софии. Но прежде чем упасть, он воочию увидел, как прямо на него идет от самого высокого и золотого купола Софии, весь в белых одеждах, мальчик, отрок, озаряя все вокруг радужным неземным сиянием. А высоко над ним летит, и не успевает лететь, белокрылый Ангел, так беспечно оставивший Николая Петровича у порога Киево-Печерской лавры.

Николай Петрович, собираясь с последними силами, осенил себя крестным знаменем и тихо прошептал беспечному Ангелу:

– Не спеши! Не надо...